

Стойкость – твоя награда.

У. Фолкнер

Илья Крупник

ОСТОРОЖНО – ЛЮДИ

Из произведений
1957–2017 годов

УДК 821.161
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
К84

Рисунки и дизайн – *Александр Зарубин*

Крупник, И.Н.

К84 Осторожно – люди: Из произведений 1957–2017 годов.
М.: Этерна, 2018. – 864 с.: ил.

ISBN 978-5-480-00383-3

Проза Ильи Крупника почти не печаталась во второй половине XX века: писатель попал в так называемый «черный список». «Почти реалистические» сочинения Крупника внутренне сродни неореализму Феллини и параллельным пространствам картин Шагала, где зрительная (сюр)реальность обнажает вневременные, вечные темы жизни: противостояние доброты и жестокости, крах привычного порядка, загадка творчества, обрушение индивидуального мира, великая сила искренних чувств – то есть то, что волнует читателей нового XXI века. Как утверждает писатель, в эмоциональной прозе самое первое – это болевой толчок чувства, и в этом – главная энергия, нравственный заряд большого искусства.

В книгу «Осторожно – люди» включены очень разные сочинения 1957–2017 годов, которые, по мнению автора, точнее всего передают его индивидуальное видение мира, неповторимое перекрестье Слова и Чувства.

УДК 821.161
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-480-00383-3

© И.Н. Крупник, 2018
© ООО «Издательство «Этерна»,
оформление, 2018

КНИГИ ИЛЬИ КРУПНИКА

Снежный заряд. М., Советский писатель, 1962

Paltiajew. Warszawa., Iskry, 1964

На этой земле. М., Советская Россия, 1967

Начало хороших времен. М., Советский писатель, 1989

A l'aveuglette. Paris., Horay, 1991

Избранное. В 2-х томах. М., Крук, 1999

Верните отрока. М., РИПОЛ классик, 2003

Жить долго. М., Этерна, 2006

Время жалеть. М., Этерна, 2010

Струна. М., Этерна, 2015

От автора

Я хочу проверить свои сочинения, написанные за долгие годы. Как видится теперь самому. Естественно не «алгеброй – гармонию», а что самое важное, на мой взгляд. И в нынешней книге выбрал очень разные, но наиболее характерные, думается, особенности собственной работы.

Потому что помимо деления – условно – на прозу описательную и изобразительную (где много значат ритм, интонация, простое, но очень точное слово, без всяких добавлений), есть «глазное чтение», а существует, как полагаю, и чтение, скажем, «слуховое». Когда словно слышишь отчетливо, что происходит на страницах. Такой эмоциональный прием можно назвать, пожалуй, чувственно-изобразительным методом.

Конечно, не каждому читателю близка подобная изобразительно-эмоциональная проза. Не надо быть догматиком. У меня самого в разное время и в разные периоды получалось по-разному. Двигается время, и сам ты двигаешься. Но по-своему. Такое движение, оно получается «само собой». Потому и сказал – «условно» – о делении повествований на описательные и изобразительные, ибо получается «само собой».

Ведь и в чужих описательных сочинениях возникают вдруг очень зримые сцены: это сильнее прорывается чувство. Такие сцены из всего повествования обычно и запоминаются. По крайней мере, мне.

Думается, в любой серьезной прозе главное не *что*, а *как*. Ведь *что* может быть и в глобальном замысле, и в необычном сюжете, а может быть и в самой простейшей информации. А вот *как*... В эмоциональной прозе самое первое и главное – болевой толчок чувства. А затем уже надо рассказать об этом, и как рассказать. То есть: чувства – мысль.

Ведь главный смысл всей своей жизни, когда я понял, что это и есть призвание – стремление в конкретной форме выразить чувства, ощущения людей в ритмах, интонациях, красках. Понял давно, после войны и демобилизации, когда поступил на филологический факультет университета. Трудно было поначалу во всех отношениях, тем более из-за собственного характера, отъединенного, замкнутого, но всегда знал, как только перестанут люди интересоваться, сам кончишься.

После университета работал четыре года в многотиражной транспортной газете, а когда закрылась она, поступал в экспедиции на сезоны и так изъездил большую часть страны, добрался даже до Южных Курил – то техником был, то старшим лаборантом, то матросом, то гидрологом на рыболовной судне в Баренцевом море, то был таборным рабочим, то кольцевал птиц на скалах птичьих базаров на заполярных островах.

Конечно, экспедиция это хорошо, сам в конкретной живой работе, но не менее, если не более – многочисленные потом поездки по маленьким городкам и поселкам страны. Хотелось увидеть пошире послевоенный мир, да и не было средств к нормальному существованию.

Когда в Союзе писателей (где состоял с 1962 года вслед за выходом первой книги коротких повестей и рассказов «Снежный заряд») внесли в запретные списки после выступления на собрании и подписи в защиту репрессированных писателей, возможность и дальше печататься была начисто исключена до самого начала Перестройки.

Но для меня важнее всего было всегда писать свободно обо всем, словно для себя, быть внутренне свободным. Кое-как держали литературным консультантом как объективного профессионала, а все кругом было сюрреально, и об этом «сюрре» жизни писал повести и рассказы.

В мелькании событий, множестве встреч особенно остро ощущались подлинные внутренние токи жизни, и пытался проникнуть сквозь эту фантазмагорию реальности с помощью интонации, метафор и пластики в суть явлений, судьбу людей. Каждый раз поиски новой формы выражения чувств, каждый раз – своя художественная задача, иной музыкальный ключ, ритм, тональность. Многое зависело от центрального повествователя или от внутренней структуры, которая

От автора

возникала сплошь и рядом в живом процессе интуитивно, сама собой. А глубокое поистине понимание, участие, критика моей жены Лели, Валерии Эльвовой, было просто неоценимо. *Семьдесят лет вместе – что бы это было без тебя.*

Хотя и не печатали больше двадцати лет, но нередко давал читать свои рукописи, а они были без всяких «помарок» официальных редакторов, и никогда раньше не получал при публикациях такого количества писем, серьезных рукописных рецензий. Например, «Жизнь Губана» прочли тогда человек триста («догубтенбергская» эпоха!). Устраивали и не раз устные чтения. Все вместе это очень помогало, поддерживало меня. И в такой, как ни парадоксально, жизни, в собственной напряженной работе я был действительно счастлив.

20.V.2017 г.



Леле – навсегда



Спасатель

Аквариум был большой. Или это только казалось. Проплывали за стеклами туда, назад рыбки, а он сидел на корточках, Виктор Сергеевич, ему было десять лет, и он увидел ясно то, что определило всю его жизнь: между травой и камнями внизу ходило в воде растение.

Оно шло медленно, у него не было ног, а оно двигалось на широкой своей подошве, высокая разноцветная колонна удивительной красоты с венчиком частых, коротеньких щупалец наверху.

Оно двигалось и двигалось по спине раковины отшельника, а сам отшельник в это время вылезал наружу из собственного дома, потому что вырос.

Затем огляделся он и устроился рядом свободно в новом доме-раковине. Поворочался там и выставил как можно дальше тяжелую клешню, потом другую и очень бережно, очень осторожно пересадил к себе на новую крышу высокое растение – друга.

Да только это было еще не все. Как узнал потом самое главное Витя, это не растение было вовсе, а животное, настоящее живое существо. Такое, как рыбы, такое, как дельфины, такое, как лошади, такое, как люди.

II

Виктор Сергеевич шел по темному, еще пустому коридору института, где проработал столько лет, единственный в институте специалист по коралловым полипам южных и северных морей.

Как удачно он сочинил очень удобный для себя график: встать в пять утра и тихо-тихо, чтобы не будить Лену, – в кабинет, включить свет в аквариумах, выключить помпы-компрессоры.

И сразу, сразу озарялось все, и пробуждался спящий на дне водяной народ.

Затем – быстро закончив утренние процедуры и кое-что перекусив на кухне – в институт, пока там не было никого, займется как всегда оценкой количественной самых разных биоценозов. А уходит, здороваясь и «до свидания», когда собираются все.

Конечно, его, конечно, считают чужаком, и раньше, в молодости, а теперь уж тем более в семьдесят восемь лет, но ведь так работается лучше. И все успеваешь – «на два фронта».

Лена проверит, нет ли взвеси в воде, покормит народ, включит помпы, позавтракает и пойдет на работу в библиотеку в его же институт.

III

Прохладно было, зябко на дворе. Не горели окна ни в одном окне. И не было, как всегда, никого.

Он, как мог быстро, чтобы согреться, шел вдоль спящих домов, думал о статье, которую писал в полемике с С. Кристиансен из Норвегии.

У клумбы, он обогнул ее, лежали листья, еще зеленые, но уже с загнутыми краями, а больше было желтых листьев. Виктор Сергеевич пошевелил их ботинком.

Немолодая женщина-дворник в резиновых сапогах, оранжевой казенной рубашке, в оранжевых штанах вышла из-за угла дома с деревянной лопатой.

– Здравствуйте, профессор.

– Здравствуйте. Но я не профессор. Это в университете читают лекции, и аспирантов у меня нет. Да.

Но как же все это случилось, так вот незаметно... что он, Виктор Сергеевич, стал повсюду самым стар-

шим... А был всегда, казалось, моложе всех... молодой, да невысокий, худой, да еще со своими кораллами. Даже усы отпустил тогда небольшие, чтобы не считали совсем мальчишкой... Давно уже седые, и брови, голова. Только вовсе не худой теперь...

Женщина-дворник, по возрасту она ему, понятно, как дочка, сгребала листья в кучу широкой, как доска на палке, лопатой. Остановилась, вытерла, передыхая, оранжевым рукавом лоб.

– Вы спать, наверно, теперь, – сказала почти что с завистью. – будете. Спать...

– Да нет, надо идти... Знаете, я... я вам расскажу. Знаете, на юге у берегов и на севере тоже, вы, может, слышали, растут такие кораллы. Но они везде, везде стали погибать. Да. Коралловые рифы. Особенно сейчас. А они ведь индикатор, понимаете, то есть, я говорю, показатель заболевания всего нашего мира. В институте я все записываю, сведения отовсюду, что происходит, дома моя лаборатория, опыты, возрождение должно быть. Спасать. Ну... Я заговорил вас, а я... Ну я пойду.

IV

Это сегодня, когда пришел домой Виктор Сергеевич, Лены не было, в библиотеке выходной, но Лены в доме не было. Виктор Сергеевич снова вышел во двор.

– Вы жену? – (Это тетушки на скамейках.) – Она за Колей побежала. За Колей.

– За Колей?

– Да вы не расстраивайтесь, профессор, она его найдет. У него и мамаша под конец совсем была тронутая.

А Лена, Лена уже шла сюда, вела за руку как маленького молодого человека в дырявой футболке.

– Понимаешь, соседка поручила куда его не пускать, она в больнице, а я забыла. (Господи, какие у нее глаза, огромные, виноватые и радостные, голубые ее глаза... Господи, как я тебя люблю, столько лет, столько лет, дорогая ты моя, такая худенькая, в светлой кофте своей, тонких брючках, любимая моя, черные ее короткие волосы, уже с проседью впереди...)

Они закрыли Колю в его квартире, медленно пошли к себе, он держал ее под руку, как когда-то.

– Белявый! А, белявый! Эй, белявый, молодую подцепил? – Голос позади хриплый, пьяный, что ли?

Они не оборачивались.

Седой Виктор Сергеевич крепче сжал руку Лены.

V

– Витюша... Витюша...

Он включил свет на тумбочке у кровати.

Черно было за окном. Глухая ночь. «Витюша...»
Нет, показалось.

Дверь в кабинет приоткрыта. И на белой двери
темный длинный шпингалет.

Когда смотришь на него в упор, он неподвижен.
Виктор Сергеевич прижмурил глаза. Шпингалет
двигался.

Виктор Сергеевич, накинув халат, осторожно
приоткрыл дверь к Лене в комнату. Показалось...
Она спала.

Он нагнулся близко-близко к ее лицу. Лена ле-
жала под одеялом на спине. Дыхание было вроде бы
ровное. Показалось...

VI

– Послушай, они спят в коридоре вдоль стел-
лажа, друг за другом. Вон женщины, руки голые до
плеч. Ты видишь? Я ж не боюсь. Витюша, я знаю,
это от мадапара, от лекарства. Она, доктор, сразу
сказала: «Видите ли, это фантомы, виденья». Ты же
сам заметил, как я стала хуже ходить. Она сказала:
«Если не принимать, ходить не сможете, это такое
заболевание». Витюша, ты не волнуйся, это тоже
проходит, я знаю.

Виктор Сергеевич прижал ее к себе. Лена, в оч-
ках, запрокинув голову, смотрела на него.

За очками были все те же голубые, любимые, огромные ее глаза, вот смаргивают они, она поправляет очки.

VII

Виктор Сергеевич сидел на табурете возле кровати, кормил сидящую, обставленную подушками жену. Кашу, она объяснила, это не сложно варить. Попеременно: четные дни – геркулес, в нечетные...

Виктор Сергеевич смотрел, как подносит она ложку ко рту. Раньше она держала миску в руке, теперь он сам держал миску, а она – ложку, и каждый раз ложка утыкалась сперва под нижнюю губу, только потом в открытый рот. С глазами стало все хуже. Теперь всегда она носила очки, хотя глаза были внешне такие же, большие, только они не сияли...

VIII

– Витюша, Витюша!

Господи, она опять зовет. Он вылез из-за письменного стола, едва не упав, запутавшись в халате.

– Что?! Что? Что случилось?

– Мне надо в туалет. Пожалуйста...

Она скрючившись лежала на боку под скомканным одеялом.

Целый месяц уже Виктор Сергеевич, получив отпуск, все пытался совместить: работать и ухаживать за ней, а она его дергала бесконечно, чуть не каждые полчаса. Ноги у нее отказывали, а с глазами стало совсем плохо. Раз в неделю они ездили в глазную клинику, и домой врачи приходили, и бесконечная «Скорая помощь». Почти что каждый день он шел в аптеку.

– Витюша, где ты? Приди ко мне. Витюша... Посиди со мной.

Почему, почему все сразу?! Она всегда была слабая. Это сосуды. Да. Но она ж моложе, намного моложе. Моложе! На четырнадцать лет!

– Витюша, где ты, посиди со мной. Слепая, лежу. Я не могу. Сделай что-нибудь, Витюша...

– Ладно, хорошо. Давай пойдем, я поведу в кухню, завтракать будем, как раньше. Я поведу, держись, руку сюда, сюда, вот сюда, за меня держись, слышишь?!

IX

И они пошли. Она упала на пол, он за ней, сверху. В сознание она не пришла. Палата отдельная в реанимации. Но они же все понимали, это конец. Зачем столько дней поддерживать дыхание?! А зачем он ее повел, она ж не держалась на ногах...Если бы не упали, она бы еще жила. Если бы не упали...

Она сказала ему, сказала: Убей меня. Нет, это все неправда! Это неправда! Это все равно был insult! Но если бы они не упали, если бы он не повел... Боже мой, Виктор Сергеевич... Она мешала уже тебе, да?..

– Витюша, Витюша. Я принесла тебе счастье, а в конце беду...

Нет, это не так, нет!!.. Но если бы он не повел?

– Витюша, неужели никогда больше в этой жизни я не увижу твоего лица...





УГАР



Город Делфт

1

Дом был двухэтажный, длинный, голубого, пожалуй, цвета. Но потускнел, облупился, в белых пятнах, а внизу под окнами выглядывали даже кирпичи. Ко всему он был (стал?) косой, явно сползал в тротуар справа налево. И два последних левых окна глядели на меня точно из подвала.

Адрес такого вот дома, где сдавалась комната, подсказал студент семинара, который я вел на истфаке как аспирант, замещая больного профессора. Однако для меня, человека здесь недавно живущего, даже этакая крыша над головой была удачей. Город был областной, но в марте случилось землетрясение и оставались еще развалины.

Входная дверь оказалась сразу у окон «из подвала», над ней старая табличка «Дом подключен к интернету». Но тут же заметил я, что дверь заколочена загнутыми гвоздями. Возможно, надо идти со двора.

Рядом высокая арка. Вошел во двор, заросший сорной травой. Но вот и черный ход, в тамбуре лестница на второй этаж, а я ощупью – внизу в коридоре хоть глаза выколи (лампочки где?!) – пошел вперед мимо закрытых с обеих сторон квартир.

Я шел, скрипели подо мной пологие доски пола, идти, как он сказал, до самого конца. Но люди где? Все на работе?.. Дошел наконец, кажется, постучал и потянул за дверную ручку.

На пороге комнаты стоял чернявый щупленький мальчик лет шестнадцати, смотрел на меня исподлобья.

– Я Павел Викентьевич, – пояснил я, улыбаясь дружески, – из университета. Здравствуйтесь. Дома хозяин?

– Я хозяин, – не улыбаясь сказал мальчик, очень внимательно меня разглядывая черными, выпуклыми глазами. – Я Георгий, – отчетливо, на равных, объяснил он мне.

Вот такое и было наше знакомство с Гариком. Как он рассказал потом, четыре месяца жил он один, мать похоронили, отец исчез неизвестно куда, сам он учился в технологическом колледже, но жить-то надо на что-то, да и плохо одному.

Комната была для меня с отдельным ходом, а окно в тротуар. К окну вдоль стенки тахта широкая. В другом углу стол письменный с телефоном, платяной шкаф, не доходя до Гариковой двери. Даже ковер, картины. Родителей явно комната.

– Великолепно, – сказал я Гарику. – Просто великолепно! Будем жить.

2

Мой семинар был раз в неделю, его тема – о Смутном времени XVII века. Одним из самых ранних конкретных источников, какие рекомендовал я студентам, были даже, к примеру, «Краткие известия о Московии» Исаака Массы, голландского купца, который оказался именно в тот период в наших краях.

Но студенты мои, честно говоря, не очень-то меня почитали и слушали. За глаза, это хорошо я знаю, называли меня просто Павлушей, девчонки кокетничали. Да ведь и был я не очень намного их старше, к тому же собственные мои имя и отчество всегда не нравились мне самому.

Ну вот вы представьте: Павел Ви-кен-тье-вич. Явно в очочках, если уже не в пенсне, нос острый, лицо узкое, губы ниточкой, пиджачок и галстук. В общем, сухарь явный и во всем педант. А Павлуша?.. Это действительно я. Нос мой курносый, лицо,

в общем, блином, и рыжеватый, и веснушки мои... Короче, увы, Павлуша. Да еще улыбаюсь не к месту, а вот это беда, собственным мыслям.

Вчера, например, завкафедрой – дама величественная, прямо Екатерина Вторая, но вся седая и въедливая, отчитывала меня, что на семинар ко мне в четверг пришел только один человек. А я, не склонив даже повинную голову, ей улыбнулся не к месту, ибо этот человек был Гарик, о чем не доложили, слава Богу.

Потому что Гарик все норовил теперь почаще быть со мною и звал меня «дядя Павлуша». Да и сам я привязался к нему. Родители, мама и отчим, далеко, в этом городе знакомых у меня не было, на кафедре всем чужой, а тут единственная родная душа рядом, кому нужен дядя Павлуша.

Я рассказывал ему, словно студентам, самые любопытные, как представлялось мне, события XVII века из Ключевского, а он мне о каких-то новых жильцах, поселившихся в доме, и о том, что в городе сейчас происходит, о разных слухах. Он узнавал обо всем из интернета.

Той ночью я проснулся от непонятного звука: что-то двигалось издали прямо на меня, на мою тахту, приближалось с гулом и грохотом. Тахта моя закачалась, и под ней, под полом вдруг прокатился в вихре, будто в туннеле, поезд.

– Дядя, дядя Павлуша!.. – Гарик, едва не падая, вбежал ко мне из своей комнаты. Он сидел уже рядом, обнимая меня, он весь дрожал. – Это не поезд, не поезд, дядя Павлуша!

– Да, конечно, откуда под нами поезд. Землетрясение.

– Но, дядя Павлуша, оно совсем, вообще не такое было!

3

Когда утром я вышел во двор, вокруг домов не было.

Наш угловой двухэтажный стоял как прежде, не хватало только дворовой решетки, а вместо самого переулка – обширнейшее пространство с железными то там, то тут скелетами этажей и кирпичными грудями. Такое я видел только в кино о войне.

– Я говорил тебе, говорил, – теребил меня Гарик, мы шли с ним в центр что-нибудь выяснить, расспросить, – говорил тебе, что вместо наших жильцов поселились у нас какие-то, может, они из другого места, где хуже, какие-то люди...

Мы шли, а город был почти пустой, прохожие попадались так редко и скрывались тут же вдалеке. Ближе к центру, правда, особых разрушений не было. Но нигде никаких призывов городских властей, объяснений, предупреждений, объявлений на

щитах вместо реклам, я все искал, вертел головой, но не увидел ничего.

– Гарик. – Я остановился. – Узнать бы, как там мой профессор на даче. Я навещал его три дня назад, больного. А телефон теперь не отвечает и интернет у него не работает.

К этой северной окраине города (собственно говоря, это был уже пригород) почти вплотную подходил хвойный лес. Прерывался большой поляной, а дальше снова лес, дачный поселок. Там и жил мой профессор на даче, Буразов Николай Дмитриевич.

Когда мы с Гариком подошли к поляне, перед ней оказалась высокая очень ограда в обе стороны из колючей проволоки сплошную. Открылась дверца будки – ни ограды, ни будки не было три дня назад, – вышли два охранника в камуфляже.

– Назад! – приказал, разглядывая нас и подходя все ближе, первый, с опухшим красным лицом. – Кто такие? Что, не знаете распоряжения?! За город хода нет.

– Это какое, – я спросил, – мы не знали ничего, распоряжение?

Не отвечая, он ухмыльнулся и сплюнул, и оба они, не торопясь, повернули от нас к будке.

– Дядя Павлуша, – зашептал Гарик, – давай пойдем тихо назад через лес. – Черные глаза его прямо-

таки сияли: приключение! – А где-нибудь дальше попробуем. Мы пролезем, дядя Павлуша, мы пролезем!

«Пролезем... – подумал я. – Небось, за поляной тоже наблюдают. Или нет?.. И будка не одна, наверное. Ну...»

– Эх, была не была! – я сказал. – Идем. И старик там как... Пошли.

Мы тихонько крались между деревьями, и точно, под проволокой вот был лаз. Кусты почти вплотную подходили к ограде, а за ней тоже были кусты, так что не углядеть охране. Кто-то подкопал яму. Лежала рядом плоская доска, чтобы поднимать нижние ряды проволоки, а сама яма устлана была газетами.

Это очень было удачное место: за проволокой тоже кусты и почти разрушенные сараи без крыш и без дверей. Прямо за ними можно неприметно обогнуть поляну, уйти в лес.

4

– Что? – переспросил профессор. – Куда уезжаю? В Женеву, на конференцию.

Я стоял у двери, смотрел на него во все глаза.

Мой старик, седой, редковолосый, в голубых молодежных джинсах, в мохнатой безрукавке, в клетчатой рубашке с расстегнутым воротом, складывал аккуратно в распахнутый на столе чемодан что-то

плоское в целлофане, клеенчатые папки, переключал, надавливал, чтоб поместилось.

Это был никакой не старик! Крепкий, быстрый, хотя ему ведь стукнуло уже шестьдесят! Ведь уже стукнуло! Да и болен он был, и, правда, ходить не мог.

– Это чудо, – словно отвечая мне, он повернулся к нам, Гарик уже выглядывал у меня из-за спины. – Это чудо! Помог комплекс в конце концов, замечательное это лекарство. Суставы не болят, тьфу, тьфу.

– Ох, от души! – сказал я. – Слава Богу.

Ведь еще только три дня назад, действительно несчастный, он полулежал, но не в кресле, а на стуле с подушкой, так легче, запахнув халат, вытянув больные ноги, старый-старый, бедный мой старик.

– Ну что ж, ребята дорогие, что ж, – печально сказал профессор Николай Дмитриевич, – будем прощаться. За мной заедут. Получается, могу как-то ходить, но, если честно, еще не очень ловко себя чувствую, а вдруг опять, нет, тьфу, тьфу. Отсюда раньше, вы ж знаете, Павел, в город пешком, моя прогулка, каждый день, сколько сил прибавляет. Но... Павел, телефон у меня отключили, в ближайшее время меня уволят, это абсолютно ясно, благо предлог – на пенсию. Но отсюда сейчас в город и хода нет. Здесь уже всем объявили. Но это лишь начало, не то еще будет. Стоп, погодите, а как же вы,

Павел? Павел, с собой у вас документы, паспорт, еще что, заграничный?

– Теперь я, Николай Дмитриевич, все документы с собой ношу.

– И у меня паспорт, – выступил вперед Гарик. – И меня возьмите, возьмите меня отсюда! Как племянника, может...

5

В город назад через лес мы шли молча. Гарик шел позади, а я, как виноватый (по его, мальчишки, представлениям), сам, мол, должен теперь отыскивать лаз, хотя я никак не чувствовал себя виноватым, что отказался с профессором ехать. При этом он говорил, что можно быстро сейчас уладить все формальности. Понятно, что и у «племянника» завлекательная поездка также лопнула.

Но только зачем, для чего мне ехать?..

Профессор мог преподавать что угодно, нашу, античную, даже чуть ли не историю европейских костюмов. И знал профессор четыре языка.

А я... Для меня в жизни другого ничего не было. Ну как сказать мне проще, ведь никакая это не патетика, – не было другого, я чувствую так, не было, кроме моего призвания. Это правда, это моя жизнь.

– Да они ж балбесы, – мне выдавал, когда вышли из дачного поселка, Гарик, – им не нужно ничего,

они не ходят на твои семинары любимые, ничего им знать не обязательно, им все равно!..

Я не отвечал. Потому что все это неправда, всегда, во все времена существуют серьезные люди, да кто этого не знает! Их просто меньше, как всем известно. И вот то, что я могу, куда важнее здесь, чем там.

Мы уже прошли наконец позади сараев, но где лаз, было непонятно. Там, за проволокой, из гущи почти вплотную стоящих деревьев прорывался лишь цокот белки.

– Я проверю, – сказал Гарик. Он стал на четвереньки и пополз в кусты. – Его здесь нет, и здесь, и здесь нет. А вот он! Я лезу первым, а ты подожди немного.

Я сидел на примятых кустах и ждал.

И вдруг услышал. Закричал Гарик, его ударили явно и начали избивать!.. А потом этот человек – похоже, он был один – потащил Гарика куда-то вправо, совсем не к будке.

Не помня себя, я торопливо пролез и пошел тоже в ту сторону, словно иду я от города, вдоль ограды.

– Не видели мальчика? Мальчика? Он тут баловался просто. Мальчик...

– Какой еще мальчик? – Загораживал мне проход худой, с рыжими усиками человек в камуфляже и с автоматом. – Никого тут не было. Мальчика? Никакого.

6

Ночью я вставал и подходил к двери в комнату Гарика. Прислушивался. Потом тихонько приоткрывал дверь.

Все это время, когда просыпался постоянно, было явное ощущение, что Гарик у себя спит, что я не один в квартире.

Я стоял у двери и смотрел в темноту. Слушал. Дыхания спящего не было.

Не было, не было, не было.

Сколько я ходил повсюду, узнавал везде, – о нем никто не знал ничего. Никто. Но он ведь был, я же не Клим Самгин. Гарик. Был!..

В комнате так сыро, в углу со стены отклеился кусочек обоев и свисал, под ногами у меня под линолеумом кое-где вспучились половицы. Надо было открыть окно. Но узенький этот тротуар совсем близко, там лежали слоями мокрые листья. Ночью, когда уснул все ж таки, шел, наверное, сильный дождь. Листья эти от двух тополей, которых тоже больше не было, их вырванные с корнем в ту ночь стволы, голые, так вот и лежат, и за окном одна пустота, там, где прежде были трехэтажные дома.

Потом за моим прямо-таки подвальным маленьким окном начали проходить мимо нижние половинки людей, а те, кто меньше ростом, до плеч и без головы. Люди шли по мягким от дождя листьям бес-

шумно, и ноги у всех были в голубых бахилах. Тех самых тонких, из целлофана, что натягиваешь на ботинки, когдаходишь в поликлинику или больницу. Но такого ничего близко не было, а они все шли и все в голубых бахилах. Куда шли эти люди? Больные они?..

У студентов моих экзамены кончились, каникулы наступили, и в университете я не появлялся. И я больше не в состоянии был смотреть в окно, а эти еще, нагибаясь, все заглядывали иногда в комнату.

Я снял со стены висячий календарь, который за границей, наверно, купил отец Гарика: очень большой, продолговатый, где на каждом листе обозначался месяц, а когда проходил месяц, лист переворачивался вверх, вдевался в дырочку на гвоздь. На продолговатых листах были квадратные репродукции картин.

Я достал молоток, прибил наверху к оконной раме тоже тонкий гвоздь и завесил окно календарем. Теперь вместо половинок да безголовых людей и пустоты проклятой передо мной был всегда удивительный вид на город Делфт XVII века.

Но когда я проходил по длинному нашему коридору на улицу, из закрытых квартир с обеих сторон приоткрывались двери и высывались какие-то странные лица. Я здоровался в обе стороны, только они не отвечали и двери сразу захлопывали.

И все же я встречал их иногда в коридоре и сумел наконец лучше разглядеть. Одного, к примеру, я обозначил как «человек-затылок».

Он был высоченного роста, плоский, стриженный коротко, узенький лоб, длинная шея. И я, когда видел неподвижное его и точно вовсе безглазое лицо, как-то тут же представлял, что это не лицо, а длинный, коротко остриженный затылок.

Девушка симпатичная с челкой, нагнув голову, проскальзывала молча мимо меня. Но когда я встретил ее не в первый раз – жила она тут или просто приходила часто? – то разглядел, что лицо у нее тоже не совсем обычное, а такое оно словно угловатое: скулы, надбровья, подбородок. Но так ли это или нет?.. Да что со мной?! Они такие вот или я их теперь так вижу? Нехорошо. Честное слово, нехорошо.

Единственный, кто в коридоре здоровался, улыбаясь печально почему-то с пониманием, был низенький, худенький, словно подросток, но с бородкой пожилой человек.

И именно он как-то под вечер деликатно постучал в мою дверь.

7

Был он, оказывается, последний старожил в этом доме.

– А эти пришлые, – он тут же перешел на шепот, – вы даже не представляете, что с ними делали! Что они пережили, и потому они всего боятся. И притом у каждого, – шептал он уже мне чуть не в ухо, – своя фантазия о том, что произошло. Они мне рассказывали по секрету. Из 5-й квартиры, например, очень начитанный он человек, предположил, что, как видно, в действительности существует некто вроде Гулливера, огромный, а мы, как лилипуты, и это он всем завладел, всем городом, окружил колючей оградой, и это он просунул свой кулак под нами, как поезд, а не землетрясение.

– А? – Александр Паисьевич, отодвинувшись, наконец, от моего уха, смотрел на меня, прищурясь иронически-вопросительно. – Как вы думаете?

– Да сумасшедший, конечно, – определил я.

Александр Паисьевич неопределенно пожевал губами.

Он сидел на стуле передо мной, худенький, всезнающий, с остренькой бородкой, в аккуратном пиджачке и старомодном галстуке. Нижняя губа у него над бородкой, по-молодому розовая, была оттопырена. «От многоречивости», – подумал я.

– А все другие, – продолжал Александр Паисьевич, – полагают, как вы понимаете, просто банально: это, мол, друзья наши заклятые заокеанские или из космоса, что вообще уже все глупо.

– Ну ладно, – сказал я, – они сумасшедшие, пострадавшие, и мне, честно говоря, их очень жалко. А вот что вы думаете обо всем, что происходит сейчас? Ваше мнение?

– М-мм, – уклончиво протянул Александр Паисьевич и тронул, потеревил свою бородку. – Видите ли, я знаю, что плохо, очень плохо, а абсолютно однозначно говорить о конкретностях... – Он замолчал, пожевал уклончиво губами и посмотрел на окно.

«Боится». Я с досадой тоже оглянулся на окно.

Но там по-прежнему сиял великолепно город Делфт XVII века.

Когда я обратился снова к Александру Паисьевичу, его в комнате уже не было.

8

Пожалуй, первый признак, что осень все ж таки наступает, что она не за горами, была шумящая вода в радиаторе отопления. То есть, как обычно, отопление проверяли заранее. Я ведь и платил вместо Гарика по его квитанциям за квартиру и за все прочее. И эта вот обычная проверка отопления, вопреки всей непонятной тревоге в городе, и было сейчас странным. Но в комнате у меня тепло стало и успокаивало.

Однако ненадолго. От тепла начало где-то что-то поскрипывать, трескалось, особенно слышно

было, конечно, ночью, если не спишь. Но это трескались, понятно, обои потихоньку, половицы поскрипывали у входа, где не был поклеен почему-то линолеум. А все равно, сколько ни уговаривал себя, но было такое ощущение, что кто-то ходит там.

Я положил на голову подушку и наконец уснул. И вот тут-то произошло страшное. Я увидел очень ясно, словно вовсе это был не сон, как под дверь в щелочку медленно просовывается листочек бумажки. Он был у меня уже в руках, и на нем бледными буквами было написано карандашом: «Я, дядя, ушел искать папу».

В эту ночь я оделся и вышел в город.

Было совсем еще не поздно, но пусто так. Не светились повсюду окна, а от редких фонарей казалось еще пустынной, и за фонарями, ближе к темным домам, была особенная тьма.

Я шел посреди мостовой, и звуки моих шагов слышны были наверняка на длинный, длинный квартал. Паисьевич мне говорил, что на улицах и днем сейчас опасно. Но мне было все равно.

Родного своего отца Викентия я, презирая, не искал никогда: он маму мою бросил, когда мне еще не исполнилось и полутора лет, а отчим у меня был такой по-доброму привязчивый человек.

Я все шел, «дядя», по пустому городу. На что надеялся?..

И все равно каждый раз поздним вечером, когда не спал, я выходил в город. Один раз мне даже показалось, что маленькая фигурка вышла из-за угла, но, меня заметив, тут же спряталась.

– Постой! – крикнул я. – Постой! – И побежал туда.

Куда?.. Я огляделся. Мне просто показалось.

9

А утром в среду я проснулся довольно поздно от какой-то возни и шорохов в коридоре. Натянув торопливо штаны и футболку, я выглянул.

Там стояла соседка, старушка из дальней 7-й квартиры, что куда ближе от меня к выходу, востренькая такая, очки на цепочке и ростом мне по грудь. У ног ее на полу чемодан, пакеты в целлофане. Она пыталась явно, скреблась открыть тамбур – дверь его под прямым углом к стенке моей комнаты.

– Доброе утро, – сказал я. – В чем дело?

– Тут нет дверной ручки, – объяснила мне старушка, – а я хочу выйти через него на второй этаж и оттуда уже во двор.

Надо сказать, что тамбур этот когда-то был просто прихожей заколоченной парадной двери и, естественно, там парадная лестница наверх. Но для родителей Гарика он явно служил тем же, что для

верхних жильцов чердак, переполнен был вообще непонятно чем.

– Хорошо, – сказал я. – Сейчас открою. – И пошел, ничего не понимая, взять столовый нож, просунул лезвие его в щель и открыл дверь. – Ну хорошо, – повторил я, – а почему отсюда?

– Вы что, не знаете ничего, да? Паисьевич утром пошел в киоск, верно, за газетой, а его нашли убитым!

– Его?! Кто? За что?

– Говорлив слишком, значит, – пояснила соседка, озираясь. – Вы что, не видали разве – ходят кучкой неизвестно какие, но не милиция, даже не бандиты, они переодетые. А в доме сейчас уже все выбрались, убежали сразу, пока следователи не явились, чтоб не припутали их. – Подхватив чемодан и свои пакеты, она пролезла мимо торчащих ножек ломаных стульев, начала быстро подниматься по лестнице вверх.

Квартира Александра Паисьевича была тоже ближе к обычному выходу во двор, но мне-то зачем, мысля все ж таки здраво, убежать отсюда, как заяц, через второй этаж. Когда я умылся и оделся, я просто пошел по коридору завтракать, как всегда, в университетскую студенческую столовую.

– Молодой человек. – Двери Паисьевича приоткрылись, и меня пальцем поманили в его квартиру.

– Нет, нет, не сюда. – И незнакомый этот (вероятно, следовательно) завернул меня сразу направо в кухню.

Кухня Александра Паисьевича, одинокого старичка, блистала, к моему удивлению, непривычной чистотой. Разве что конкретно, что тут стояло, не могу сказать, так как внимание мое тогда, понятно, было на двух людях в кухне.

Тот, кто поманил меня, – высокий, грузный, лет сорока, в летней военной рубашке без погон и отличий, с тяжелым полковничьим лицом (но наверняка куда пониже чином) и совсем неподходящим под его комплекцию тонким голосом (именно поэтому я решил, что он никакой не полковник). А вот улыбка его...

Он улыбался мне, подвигая к кухонному столу табурет.

– Садитесь, садитесь. – Но когда улыбался, глаза не щурились, а губы раздвигались не вширь, а как бы складывались бантиком, иначе как-то и не скажешь. Мне, например, никогда не приходилось видеть, как улыбаются большие крысы, но, по-моему, именно так. Крысиная улыбка.

Кроме него сидела у стола та самая скуластая девушка с челкой, которую я несколько раз встречал в коридоре.

– Вам знаком? – Повернулся к ней следователь. Сам он стоял, опираясь руками о спинку единственного в кухне стула.

– Только по коридору, – сухо заметила девушка.

– А как вы думаете, – продолжал он, – может быть, они бывали где-нибудь вместе. Не встречались вам?

Девушка пристально смотрела на меня.

– Нет, по-моему. Нет.

«Фу ты, – подумал я, – это ведь уже допрос».

– Что вы от меня хотите? – Я встал. – Я уйду сейчас, если официально не объясните и не покажете документы, что право имеете меня допрашивать.

– Да что вы, что вы, никакой это не допрос, да просто посидите, послушайте, просто посидите с нами, – крысино заулыбался он. И опустил грузно на стул.

– Итак, Милица Борисовна, – он обратился к девушке, – мне все же непонятно, как вы, культурный человек, сотрудник музея, ходите сюда, в эту квартиру мыть пол, убираться, обед готовить. Или вам зарплаты совсем не хватает?

«Ого, – подумал я, – это, оказывается, ее допрашивают».

– Вам нужно повторять в третий раз, – с досадой сказала девушка и даже раздраженно пристукнула кулаком. – Повторить снова? Я родственница его

покойной жены, и платы я, разумеется, никакой не беру. Больной, одинокий старик. Это что, вообще не понятно?

– Нет, представьте, не очень. – Откинулся он на стуле. – Ну, ладно. – Выпрямился и взял со стола бумаги. – Вот вам заполненный бланк, распишитесь внизу о вашей подписке о невыезде. А вы, Павел Викентьевич, пока свободны. («Он что, вероятно, обо мне все знает?») Свободны пока. Пока. До свидания.

11

На первый семинар мой после каникул явились все. Даже непривычно было, что много так в семинаре народу.

Но они сидели тихие, совсем не как всегда, слушали, записывали. Потому я решил, что пора, пожалуй, дать им задания для докладов, предложить темы. И еще я хотел поговорить с деканом, я ведь аспирант, а профессор уехал, – кто будет теперь моим руководителем?

Но ей было явно не до меня: – Потом, потом. Что-то ее беспокоило, вовсе не мои аспирантские дела. И кафедру после каникул она не собирала ни в первые дни, ни через неделю.

А у меня дома в комнате вдруг ожил всегда молчавший телефон – мне-то некому было в городе звонить. А тут все почему-то звонили, не туда попадая,

извинялись или не извинялись. И, в конце концов, выдал мне телефон вот что:

– Добрый день, – сказал приятный мужской голос. – Вы давно не были в нашей 4-й зубо­врачебной поликлинике. А мы могли бы вам сейчас помочь.

Это вот было уже чересчур.

– Большое, большое вам спасибо, – сказал я, стараясь быть так же точно очень приятным. – Но у меня все зубы вставные. – И даже лязгнул для подтверждения здоровыми своими зубами.

Черт знает что. Я вышел во двор. Солнце сияло, словно все это еще лето. И на бревне среди пожухлой травы, жмурясь от солнца, сидела... как ее? Ну и имечко, Милица Борисовна и курила, отводя то и дело рукой челку со лба. Джинсы на ней были сильно потертые и желтая на ней футболка.

– Здравствуйте, – сказал я вежливее, как можно. – Что ж это вы не в музее?

– Уволили, знаете. – Она выдохнула вверх струю дыма. – Сижу теперь на воле. Тепло, не правда ли?

– Н-да, – сказал я. – Тепло. – Думая, как бы это поприличней распрощаться.

– Да вы не сочувствуйте, не надо. Музей все равно закрыли. Всех и уволили.

– Это как?..

– Да так. – И протянула мне: – Кúрите? – пачку сигарет.

– Нет, спасибо. Бросил.

– Новая жизнь началась, – продолжала она, скривившись. – Вы, по-моему, не на Луне живете. Все будет по-другому. Только неизвестно никому, кто все-таки над нами, ничего ж не объявляют, не объясняют. Кто все это делает? Я вот хотела в библиотеку, что ли, устроиться, да и там что-то неладно.

– Ну это не везде вовсе, у нас в университете...

– В университете? – повторила она насмешливо. – Что ж, желаю вам самого доброго.

И ушел я от нее, просто как оплеванный. Черт меня дернул заговаривать! Как непохожа она стала на симпатичную ту девушку, что пробежала мимо меня по коридору, не здороваясь.

12

Студенческая наша столовая располагалась на пятом этаже. И чтобы не взбегать бесконечно по ступенькам, да еще опаздывали всегда, – норовили в лифт. Хотя и не поощрялось: он был грузовой, просторный лифт, набиралось туда студенческого народа, как говорится, под завязку. А обычный лифт не работал давно.

Я втиснулся, стояли тут почти впритирку. Ребята толкали девчонок, острили, девчонки били их кулачками по спинам, смеялись. В голове у меня все

одно и то же: о докладах – как, кому, что предложить конкретно, не всякий ведь из них потянет.

Мы едем бесшумно, но остановились не на пятом этаже, свет помигал, погас. Но у нас такое не раз бывало, также двери не открывались или еще что-нибудь, если перегружен.

– Ребята, кнопку нажмите!

Зажглась спичка.

– Вызвали, не бойсь, потерпи немного.

Прошло полчаса, пожалуй, а может, и больше.

Мы стоим.

– Сижу за решеткой в темнице сырой,
Вскормленный НА ВОЛЕ орел молодой, – начал кто-то дурашливо.

– Брось, слышь! Брось. – Мобильник... – Пробовали уже, под этой крышей не берет, черт.

– Девчонки, а давайте споем, не плакать же, а? Споем!..

Но не поддержали.

У кого-то транзистор заговорил, шум, треск, попса, дальше – жесткий голос, обрывки слов, но что-то не совсем понятное.

– Да выруби, выруби ты его к черту! О чем болтает?.. Не о нас же он.

И тихо стало. Только я чувствовал рядом в темноте дыхание людей.

«Уважаемая Ирина Анатольевна, получив Ваше корректирующее извещение от З/х о потреблении электроэнергии и оплате за нее и сравнивая затем Ваши данные с квитанциями по оплате от квартирного электросчетчика, нами установлено, что...» У-у-у-у.

Фуу-ух. Я отодвигаюсь от стола.

Я – в большой, абсолютно голой комнате, стены ее покрашены бледно-серо-голубой масляной краской, и сижу я за длинным столом на самом краю. Дальше тоже сидят, и у каждого свое порученное ему дело.

Таких столов в комнате четыре, и это похоже, скорее всего, ну не знаю, на столы в казарме или, быть может... Нет, это вовсе не тюрьма, а просто служебное помещение, куда направлен каждый по степени полезности.

Боже мой... Когда закрываю я глаза, вижу свой кабинет истории, он не в главном здании университета, а в городской усадьбе XIX века, шкафы с книгами по стенам до потолка, мраморный камин. Боже мой... Неужели не будет больше никогда. Никогда...

Народу в городе от землетрясения, нераскрытых пропаж, массовых убийств, побегов, прочее, прочее, считается (кем считается?!), стало на четверть меньше. Поэтому все квалифицированные в практическом смысле людские силы собраны, ра-

ботаю в промышленности, в строительстве, на цементном заводе и т. п., и т. п.

Наша же категория за столами заполняет рубрику: «Бесполезные». Однако это не означает, оказывается, что каждый не может приносить хоть какую-нибудь, но практическую пользу. Мне, например, поручено, после закрытия гуманитарных факультетов, разобраться с путаницей в оплатах электроэнергии. Дело, разумеется, важное, и, полагают, грамотный человек распутает быстро все и тщательно.

Итак: «...установлено, что Вы просто берете средние показатели за прошлые годы и на этом основании...» Тьфу.

Я зажмуриваю снова глаза, чтобы ни за что не видеть серую эту голую комнату, а что-нибудь ну самое-самое, что ни на есть самое яркое. И вот – вот июнь. И это Крым, верхушки зеленые холмов, и на них, я помню, ярко-красные полосы, и сползали они вниз с зеленых холмов, как кровавые ручьи, эти полосы – горицветы, они затопляли все овраги внизу красными своими цветами.

Нет, я не хочу открывать глаза, я не хочу, что «установлено, что...». И позволяю себе такое не раз и не два, потому что иначе...

Но вот что интересно. Бывает, вдруг глаза откроешь, а все равно: небо, и вроде ранняя осень,

и даже бело-зеленые, в лишайнике, очень мокрые от дождя стволы деревьев, наших бывших деревьев... Но это та же казенная комната. А потом ты понимаешь – ты видишь непонятные какие-то тени на стене от окна.

14

Домой я возвращался поздно, обедали мы там же на службе, а вечерами готовил себе чего-нибудь попроще.

В доме у нас ни звука, ни шороха. Тишина. Брошенные квартиры не занимает никто. Боятся, верно, этого дома из-за убийства и то, что дом под надзором. И Милицу Борисовну я тоже больше не встречал, хотя, наверное, она жила теперь в квартире Паисьевича с подпиской о невыезде.

Домой к себе я проходил мимо школы, там во дворе почему-то появилась пушка с очень длинным дулом. А на площади у неработающего фонтана я разглядел в воде старинный военный кивер, черный с красными полосами с обеих сторон, с маленьким блестящим козыречком. Но это был, как видно, театральный реквизит. От заросшего седой бородой соседа своего по столу, по профессии актера, а теперь занимался он коммунальными платежами, я слышал, что его, например, театр закрыли, а что с другими – неизвестно.

И все же нет, очень я не хотел переворачивать лист календаря на окне с замечательным городом Делфтом XVII века, и не переворачивал, хотя месяц был уже другой.

Нет, нет и нет. Моя жизнь... Я буду ехать, как ехал всегда в поездах, я буду свободен! И не диссертация вовсе, а я напишу об этом. Свою жизнь. Как все же повернулось что-то во мне.

А в вагоне окно приоткрыто. И мчится поезд. Вечер. Так пахнет травами, дымом костров, деревней, и река близко. Лиственницы появились вон, мелькают, мелькают вдоль полотна. А вдали пожар.

15

Теперь я пишу все время и как-то не могу остановиться. Это не украдкой, отрываюсь просто от электроэнергетических расчетов и пишу. Ведь по вечерам сил нет, устаю. А утром голова свежая и во все не для канцелярии, и я даже чувствую иной раз в потоке слов какой-то явный внутренний ритм. Именно ритм.

А в электроэнергетических записях у меня уже наверняка ошибки, поэтому надо иначе.

Я снимаю часы с руки и кладу на стол. С утра, пока такой вот запал, я пишу не отрываясь. А потом что-то спотыкается, затухает, тогда и перехожу на канцелярию. Конечно, в голове начинают посте-

пенно снова сами собой крутятся дорога, река, лес, разные такие люди, события, сколько ж я видел... На оторванных клочках из тетрадки записываю бегло несколько слов для памяти, для утра. И снова углубляюсь в канцелярскую круговерть.

Мой седобородый сосед по столу – я ж сижу с самого края – смотрит иной раз украдкой – чем занимаюсь?.. Но мне-то, чего мне бояться. Донесет? Но пока спокойно. И я продолжаю. И вокруг заняты все, у каждого свое задание. Проверяющий не ходит вдоль столов, это вам не школа, другой у них явно метод наблюдения, они видят все на экранах, конечно, которых мы не видим. Но что тут хорошо – главное – выполнения норм, пока, во всяком случае, не требуют.

За этими столами почти всех я уже знаю в лицо.

К примеру, физика-теоретика, он тут единственный такой ярко-рыжий (моя слабая рыжеватость не в счет), волосы у него растрепаны, очки сползают, а глаза у него наверняка зеленые, потому что, как считается теперь, у всех рыжих глаза зеленые. В чем вовсе я не убежден. И также не убежден, что леворукие, о чем иронизирует мой седобородый сосед, – это, мол, у них все от дьявола. У нас ведь есть левши.

А еще я прекрасно знаю, что за вторым от меня столом сидит и трудится как все (кто б вы подумали?) тот самый следователь, что допрашивал нас в

квартире Паисьеви́ча. Он явно делает вид, что не знает меня, не замечает. А он похудел и как-то сник. Тоже, значит, попал за что-то – или им не нужен теперь больше – в нашу категорию «Бесполезных».

Иногда для отдыха – это разрешается – выхожу в коридор, пройтись туда-обратно, размять ноги. Сегодня ко мне присоединился и мой сосед, седой, седобородый. Он идет со мной, словно в паре, не отставая (ишь живчик!..), я ускоряю шаги, я один хочу, а он не отстает.

– Послушай. – Задерживая, стискивает он мое плечо. – Я же вижу, я понимаю, что ты пишешь, ну прямо сочинение целое, а? Да не бойся. Не боишься? Молодец! А я могу тебе помочь, потому что скоро меня тут не будет, и меня они не найдут.

Мы стоим в самом дальнем коридорном закутке. Он оглядывается быстро и начинает отцеплять приклеенные бороду и усы, а потом стаскивает седой парик.

Мне в лицо, подмигивая, улыбается молодой человек моего возраста.

16

Кто он такой на самом деле и что значит «скоро здесь не будет» и «меня они не найдут» и в чем может мне помочь, я так и не узнал тогда. В коридоре появились – на прогулку люди, и мгновенно он

снова оказался седобородым, седовласым стариком. А потом кто-то и что-то все время мешало, не удавалось пока поговорить наедине спокойно.

А между тем в доме у нас начали возникать некоторые новшества.

Вчера вечером, идя к себе в квартиру, я наткнулся вдруг на кого-то, он сидел прямо на полу у двери Паисьевича, вытянув ноги. Свет в коридоре был слабый, горела одна только лампочка там, посередине.

Но сама дверь Паисьевича за его спиной начала дергаться, его спина мешала явно открывать дверь. А когда с силой еще раз дернулась, этот кто-то повалился на бок.

Из квартиры яркий свет, у порога, в трениках и футболке, Милица Борисовна на корточках домывала пол. Волосы ее растрепались, лицо было красное от натуги.

– Хм, – сказала Милица и привстала, держа в руках тряпку. – Это что ж такое?

Человек по-прежнему лежал неподвижно на боку, поджав ноги.

– Стойте. – И отбросив тряпку, она пошла быстро назад, вернулась с банкой воды и изо всех сил брызнула в него водой изо рта.

Человек пошевелился и стал поднимать голову.

– Ну, – сказала Милица, – что будем делать?

– Надо бы перенести куда-то, – сказал я.

– Хорошо. Давайте, 5-я квартира не заперта.

Я начал приподнимать его за плечи, Милица за ноги. Он оказался очень длинным.

– Нет, так не пойдет, – сказал я. – Лучше я сам. – И поднял его на руки, ноги его болтались, он был совсем легкий, невероятно худой и легкий, и плохо от него пахло. А лицо его теперь совсем близко: это был «человек-затылок».

Положив его, наконец, в комнате незапертой квартиры на кровать, я посмотрел на Милицу, что стояла рядом.

– Что ж, придется подкармливать его, – сказала она.

– Придется, – я согласился. – Только...

– Что вы хотите сказать, что из ваших шишей, какие вам там плятят, – усмехнулась Милица, – не разгуляешься, да? Так я его беру на себя.

– Да вы ж не работаете.

– Как не работаю. Работаю. Только моя работа особая. Еще и вас могу подкормить. – И она с вызовом посмотрела на меня.

17

– Они его подхватили на улице сзади, какие-то двое в штатском, – рассказывал я в коридоре актеру Вите (ни свой парик, ни бороду, на всякий случай, он больше не снимал), – и потащили этого бедолагу,

привезли на цементный завод, поставили золу сушить на костре. А там все такие, как он, а над ними охранники с резиновыми шлангами, отвлечешься – и сразу бьют. Остальные, хоть больные, хоть какие, все равно с ведрами, носилками пудовыми, и все бегом, все бегом, остановишься – и бьют.

– Чудесно. А актеров наших с ведрами не встречал он там, а?

– Не знаю. Наверно, и ваши были.

– Ясно, ясно, – сказал Витя. – Ты вот пишешь, так ты пиши все, все это пиши.

– Знаешь, – сказал я, – он говорил еще, убежать можно, сам уполз, но ловят, а главное ведь все боятся, Витя, все боятся. А чего боятся, непонятно. Кто, говорил он, кто над ними, над этими, над всеми, кто?

Ночью я по-прежнему засыпал плохо. Это поначалу казалось, что наш дом полностью уцелел, единственный из домов переулка. Но когда поднимался ветер, в доме ночью раздавался стон. Собака выла?.. Нет, никаких собак, ни кошек поблизости больше не было. Они исчезли все, когда рушились дома. И потому понять, что это, не мог. Скорей всего в стенах обозначились трещины, и это стонал, проникая, ветер.

А решительная Милица все пыталась выхаживать «человека-затылок» – он, от всего, что с ним происходило, вообще пугался неожиданных звуков.

Я же со своей стороны уступил Милице и согласился заходить поужинать с ними. Так мы хоть вместе здесь, очень уж тошно одному в пустом доме.

В воскресенье Милица собралась куда-то и предложила мне пойти с ней – будет, мол, и вам, я думаю, интересно.

Мы шли долго на западную окраину. Было очень холодно, совсем не по-осеннему холодно, и на неизвестной мне улице Юрьевской из открытых дверей маленькой церкви шел пар. Наверно, внутри там набилось очень много народу, надышано было и тепло.

На улице то и дело здесь попадались люди с колясками ручными на визжащих колесиках, они везли бидоны и канистры. Как сказала Милица, воду везут, тут сохранились еще колонки, а водопровод с перебоями.

Потом мы прошли через пустой парк. Внутри заросли крапивы между деревьями, и перед летней проломанной театральной сценой торчали столбики в ряд, на которых раньше крепились доски скамеек. А в самом центре парка был облупленный постамент, на нем черный бюст Карла Маркса.

Мы уже вышли насквозь, когда из ближнего дома выскочил низенький волосатый человек в одних трусах и заплясал, заплясал перед нами, хохоча:

– Тетя Милиция! Тетя Милиция! Ты тетя Милиция!

– Хватит, слышишь! Раз. – И как пистолетом, Милица наставила на него палец. – Два! Косинус Фи!

Человек пригнулся и сложил, умоляя, ладони, потом кинулся прочь.

Мы спускались медленно вниз по ступенькам подвала, а из темноты трепыхнула вдруг цепью собака и началось ворчанье, хриплое ворчанье, сейчас, сейчас она залает.

– Тихо! Тихо, Лорд, – сказала Милица. – Это я и мы вместе, оба.

Ворчание смолкло, но в потемках я даже не разглядел собаку.

Милица на ощупь привычно отомкнула железную дверь, внутри горел тусклый свет.

Рядами в громадном подвале вдоль стен выселись античные статуи.

– Вот, – сказала Милица с гордостью, но и печально. – Он все так же живой, наш музей. Ликвидированный.

18

Аресты в городе продолжались. Разыскивали, как сказано было в развешанных повсюду объявлениях, тех, кто злобно пытается прятать, несмотря на запрет, все прежние «так называемые ценности культуры».

Ранее арестованные исчезали бесследно, а на площади у бездействующего фонтана – я ведь сам это видел! – три дня лежала, вероятно для остротки, отрезанная голова известного всем коллекционера.

На дверях нашего дома Милица поспешно приклеила белый лист с надписью большими черными буквами «Карантин».

С помощью умельца, одного из новых жильцов (теперь уже почти во всех квартирах селились беглые), во входную дверь со двора был врезан замысловатый замок, а дверь открывалась тем, кто знал о невидимой кнопке. Нажмешь, скажешь кто, и отвечают изнутри Милица либо я, и мы с ней решаем.

В общем-то, обыкновенный домофон, но сама кнопка в дверях невидимая, и беглые передавали, как ее обнаружить, только самым верным.

Поздними вечерами в одной из надежных квартир на улице Гагарина я читал свои лекции о нашей отечественной истории XVII века, подлинную историю, постепенно переходя к более близким временам, поскольку издан был и широко распространялся новый учебник, где история словно начиналась заново.

Уставал я, конечно, очень, потому что помимо канцелярской службы продолжал свои записки. И все так же, понятно, плохо засыпал.

Однажды вечером я услышал вдруг за стенкой в пустой комнате Гарика равномерный звон: били часы. Но этого совершенно быть не могло! Старинные часы на стенке, которые у его мамы оставались еще от прадеда, были сломаны, и никто, как говорил Гарик когда-то, не брался починять.

Однако зайти туда, в комнату моего Гарика, я до сих пор не мог решиться.

Я выскочил в коридор. Милица, Мила, как все ее уже называли, наш теперешний комендант, стояла у Гариковой двери и тоже прислушивалась. И вправду, били часы.

– Ты знаешь, – сказала она, – я же все понимаю, я тебя хорошо понимаю, ты не заходил туда ни разу, я понимаю, для тебя выше сил. Но а можно я зайду? Ты скажи мне, ты скажи. Ну ты мне скажи...

Она так близко ко мне подошла.

– Да, – сказал наконец я. – И я не буду больше называть тебя Мила, ладно, слышишь?.. Ты ведь для меня М и л я. Можно?..

– Можно. Для тебя все. Для тебя все, все можно.

19

– Этим летом, Миля ты моя, так мне было одиноко. А на дворе тепло, солнце, и, помню, иду я по асфальту вдоль кустов, лопухов нашего без решетки двора, а под ногами всюду на расстоянии друг от дру-

га темные пятна и еще светло-коричневые маленькие камешки. Но сел на корточки и понял, что это не камешки, а просто-напросто круглые раковины улиток. Тепло стало, и все они, все на дороге уже под солнцем. Их длинные такие, коричневые узенькие туловища выглядывали далеко наружу, и у них усики шевелятся. А темные пятна – это все следы раздавленных, незамеченных ракушек.

– Ракушки?.. Ты об одиночестве, да? Ты метафорист, родной ты мой Павлуша. Я же видела, какими глазами ты смотришь на меня, особенно в последнее время. И молчал. Ты совсем не современный человек, ты во всем такой, Павлуша. Но за это, наверно, я и люблю тебя.

– А что ты, ну ты такая уж современная, да?

– Во всяком случае, может, на чуточку больше. Знаешь, женщины, они почти всегда практичней.

Это один вот из наших первых разговоров, когда мы по-настоящему были уже вместе. «Скрещенье рук...» Да лучше-то и не скажешь, чем у запрещенного ныне поэта: «Скрещенье рук, скрещенье ног, судьбы скрещенье...»

Мы впервые рассказывали все друг другу, о себе, детстве, юности. И как это раньше мы были не вместе!.. Ведь и лицо у Мили – вовсе это неправда! – совсем, совсем не угловатое, волевое, да, но какие глаза у нее и какая родная ее улыбка... А молодость

кончилась у нее, когда погибли и отец и мама в автобусной аварии. Но только – это говорила Миля – человек никогда не должен, нет, жалеть самого себя, именно себя, все-таки это главное. Чтобы жить дальше.

А я... Я больше не отпускал ее одну в вечерние и каждый раз особенно рискованные выходы в город. Она знала хорошо, кто и где хранит остатки музейных фондов, знала оставшихся еще затаившихся коллекционеров, считалась у них экспертом и читала к тому же лекции об искусстве. Это было все безвозмездно, только у самых богатых тайных коллекционеров соглашалась на гонорары. Они шли в общий котел, потому что выходявшие тайком для пропитания беглые наши приносили, в общем-то, крохи. Короче, в доме мы нельзя сказать, что голодали, но жили довольно скудно, понятно.

А вот часы у Гарика продолжали идти. Но это, по-моему, не столь уж диковинно. Каждый хотя бы раз мог видеть или, может, слышать, как что-то молчавшее вдруг оживало, и вот так воспряли часы.

Хотя, конечно, свои тайны есть и у неживых вещей.

На одной из лекций Миля, например, объясняла, в чем загадка удивительной яркости самых, казалось бы, обыденных сцен, какие целых четыре века назад, и до сих пор это прекрасно, писал автор мо-

его Делфта. Делфта, которым я занавешивал у себя окно.

Раньше я слышал кое-что и даже читал об этом. Но Миля еще упирала на не совсем обычные свойства зеркал, какие по-особому устанавливал для освещения своей натуры художник.

Быть может, это и так. Но главное все равно не в тайне, это понятно, его зеркал. Даже при высшем даровании главное оказывалось опять-таки в силе его чувства.

20

Между тем работа моя над записками, в общем-то, близилась к концу. У меня скопилось столько о недавних ситуациях, о запретах и совсем уж о бесчеловечных фактах, о чем рассказывали беглые, прямо на разрыв души.

Витя торопил меня: «Я, ты понял, я смогу такое передать в загранку, понял? А ты тянешь. Пусть все узнают, не тяни!..»

И Миля начала на компьютере набирать уже готовые правленные черновики. Время летело так, что я и не заметил, вернее не запомнил, когда Витя, получив наконец рукопись, исчез.

Но зато я запомнил, как нас всех, большую теперь группу «Бесполезных», художников, филологов, флейтистов даже и прочих, выстроили в зале и

по одному стали вызывать на допрос. Но никто, действительно, и я в том числе, ничего не знал, каким образом и куда ему удалось уйти, скрыться.

И так же точно не могу сказать, сколько времени прошло с тех пор, как однажды в доме появился новый человек, беглый, он передал Миле книгу.

Когда я вошел в квартиру, она кинулась ко мне, целуя, обнимая меня: «Получилось! Вышла, вышла твоя книга, Павлуша, родной мой!» Какие любимые, какие сияющие, любимые глаза и какое лицо счастливое... И у меня, наверно, хотя и оглушенное, растерянное, конечно. Мы все так же стояли в дверях, обнявшись.

Потом сидели рядом и листали страницы, перебивая друг друга, нет, не изменили ничего, ни пропусков, те же абзацы, даже тире, запятые, все точно.

Книга была объемистая без всякого названия и автора, мягкая обложка, мелкий шрифт и карманного размера, чтобы легче пересылать, передавать или прятать.

– Он, кто передал, Павлуша, говорил мне, что у них там вышла большими тиражами и большим форматом. Но, чтобы тебе не повредить, псевдоним, естественно.

Я отлепил приставший изнутри обложки титульный лист, поглядел с интересом, какой они мне придумали псевдоним.

Только псевдонима там никакого не было. Стояла подлинная фамилия Вити. Теперь каждый, знали все: книга была написана Витей.

21

– Дом, смотрите! Дом осаждают!

– Это какой? Улица какая? – И я взял быстро у нового соседа по столу, что вместо Вити, строжайше запрещенный нам видеотелефон. Экранчик был очень маленький, и все там было крохотное: мелькнувшее лицо, дым, трассирующие пули, люди в бронежилетах, бегущие влево, вправо.

Только бы не наш... Нет, дом другой, нет, не двухэтажный, выше! А только чувствовал я уже, я понимал...

– Немедленно отдайте! – Надо мной, откуда непонятно, появился неизвестный человек и протянул к телефону руку.

Но я так быстро выбрался из стола, что он не успел вырвать телефон. Тогда второй, такой же человек, вот она охрана, кинулся ко мне.

И тут стол внезапно сдвинулся и покачнулся – мои соседи вскочили тоже, во все стороны полетели бумаги, бумажки, счета.

Затиснутые беспорядочной нашей толпой, у этих двоих в руках были уже пистолеты, и сразу ударил выстрел. Но пуля ушла вбок, вверх, и их обоих повалили на пол, выкручивая, выбивая пистолеты.

Маленький телефон дрожал у меня в руках, я больше не различал ничего.

– У меня камера, видеокамера! – Это мне рыжий. Господи, как он смог даже камеру пронести. – Смотри! Увидишь! Тебе ответят.

– Павлуша! Павлуша! Павлу... – услышал я наконец и увидел Милю. Миля!

И ясно увидел свой дом. Стекла были всюду выбиты, но календарь еще висел.

– Пав-лу-ша...

– Миля! – крикнул я и что было сил побежал вперед. Дверь!.. Найти дверь! Выход отсюда. Выход, скорей!

За мной вслед побежали все, а над нами яростно завывла сирена. Тревога. Сейчас перехватят...

Толкаясь на бегу ладонями в стенки, я искал, щупал, задыхаясь, неразличимые, замаскированные двери. Миля... Они бесконечны, какие бесконечные коридоры справа, слева.

Со мной рядом был рыжий с камерой, на экране дым, залпы, а за нашей крышей явно полыхали пожары.

– Дом пустой! Слышишь! – крикнул рыжий. – Я вижу теперь, там пусто, они ушли!

И тут я нащупал в стенке бугор, потянул его резко в сторону, и стали медленно раздвигаться двери.

Но с обеих сторон, с силой оттолкнув рыжего, меня схватили под руки, сдавили – охрана, – отгаскивая назад.

Только я уже увидел.

Это была совсем не наша улица, не было окна с картиной, и города старинного с картины. Не та дверь!..

Это же просто наш Юго-Восточный поселок. Совсем не та дверь...

И спокойно там еще, не дошло до них?!

Впереди, в зелени стояли белые дома, не слишком высокие. И не разрушено ничего.

Но только это не наш город. Явно другой... Подалее там, за нашей вроде оградой.

Слева к белым домам подходили заросли густых деревьев. Из зарослей вышел маленький олень, подросток. Он пошел по асфальтовому тротуару вдоль домов. И сразу из зарослей вслед выскочила его машина и пошла за ним. А потом вышел и отец с ветвистыми рогами.

Я почувствовал, что меня перестали держать, сдавливать. Все смотрели молча, как друг за другом вдоль домов идут по тротуару олени.

– Миля, да где же ты? – прошептал я. – Там олени.



*Памяти капитана 1-го ранга Сухиашвили,
который спас меня, рядового,
от неминуемой гибели в 1943 году*

Незабытое

Выдержки из путевых записных книжек 1958–1963 гг.¹

Баренцево море

9/X – 58 г.

С сегодняшнего дня я матрос поискового рыболовного траулера РТ-211 «Тунец». Вахта третья.

Стоим в Тюве-губе Кольского залива. Деревянные домишки на берегу, каменные сопки кругом. На ржавых громадных камнях, на чертовой высоте «автографы»: РТ-99, РТ-233 и пр. На крышах тоже, подряд (привет Маяковскому). У причала РТ-1 «Акула».

¹ Полный текст «Незабытого» опубликован в книге «Струна». Москва, Этерна, 2015, с. 7–114.

Облупленный паровик 30-х годов. Т. е. «Они были первыми».

Наш корабль английской постройки. Кроме кубриков три каюты в трюме на носу. В двух четверо инженеров ПИНРО (Полярного института рыбного хозяйства и океанографии). Моя – на одного. Всё это целая история. Матросы называют: научно-фантастический рейс.

На корабль в экипаж я зачислен гидрологом, потому не в кубрике, в каюте. Но сейчас для гидролога работы нет, инженеры испытывают разноглубинные тралы. Капитан предложил мне вакантное: первого помощника (т. е. замполита), по-здешнему – помпа. Я отказался, понятно. А тут сошел с ума матрос перед отходом, выводили его, буйного, двое на берег. Я предложил вместо него себя.

Рыбачья банка

10/X – 58 г.

Ночная вахта. В рулевой рубке тепло, душно, качает. А воды не видно. Всё черно. Ночь. Лишь наверху, над полубаком подскакивает луна, узенький лунный серп, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. И над головой всё качается ковш Большой Медведицы.

В рубке отсвечивает картушка компаса и еле-еле аксиометр, да еще медь машинного телеграфа. Мы идем строго по курсу.

Капитан рядом спрашивает удивленно:

– Вы когда-нибудь раньше стояли на руле?

Что ему отвечать...

– Да-а. А у нас матрос Неклюдов два года плавает, а стоять на руле не может.

(Что отвечать... Никто на корабле не знает, что моложавость выручает – что мне не 23, а 33, шесть дней назад исполнилось, что у меня в войну военно-морское училище, канонерка, действующий флот. Никто не знает, как захотелось через столько лет быть снова в море, что больше ни за что не буду я инвалидом, что и в тайге до этого, в 56-м с геологами работал, а это очень многому еще научило. Якутские похождения перевернули мою сидячую жизнь после войны).

Прожектор с мостика соскользнул в воду, и за сверкал ваер – траловый трос. Белая лента ваера окунулась в голубое пятно на черной воде – след прожектора.

А на горизонте всплыли вдруг и тоже закачались огни. Шли траулеры. Много, много огней. Каждая кучка светлячков – это корабль. И в промежутках черная вода, черное небо.

Однако светлеет постепенно. Отделяется постепенно вода от неба. Показались темные полосы облаков. И над горизонтом заря: розовая и золотая полосы.

Подняли трал. Но не с рыбой, увы. Весь куток забит губкой. Отсюда, сверху, видно. Губки большие беловато-зеленые, словно тыква. И маленькие, желтые, как репа.

12/X – 58 г.

Музыка плывет по кораблю, и каждые четыре минуты позывные радиомаяков.

Боцман выдал прорезиненную куртку, порыбачки – рокон, и такие же штаны – буксы.

Приборка на крыльях мостика, бешеный шланг, драйка квачем и щеткой стен рубки, соленые брызги из шланга, вспоминаю молодость.

Из стенгазеты «Тунец».

«В редакцию нашей газеты поступила заметка от рыбмастера Братанова на боцмана. В этой заметке указывается на то, что якобы боцман выбросил за борт электрические моторы и два стопорных гака.

Была создана комиссия по расследованию этих фактов, но они не подтвердились, кроме того факта, что боцман по своей инициативе употребил три банки конфет из неприкосновенного запаса».

Наш боцман, как армейский старшина, прижигает ватник, вместо порванного, не выпросишь.

А Братанов солидный, кряжистый мужичок, для него боцман мальчишка, хотя «мальчишка» большой, грузный (но всего-то в действительности на год меня старше – узнал, ему 34, а никогда не скажешь). И еще: у нас кок – повар вовсе не похож на разжиревшего и важного от обеденных проб, он худенький, деликатный и всегда в кепочке, в ней даже еще не вынута магазинная картонка.

Вообще-то, наша команда, матросы (в плавани-
е, не на берегу) простодушные и добрые, хотя и
грубые ребята, без всяких удил (тралфлот!). А улыб-
ки хорошие, открытые. Относятся ко мне хорошо,
тепло, оберегают (студент) при подъеме на палу-
бу в качку громадных железных траловых досок,
этих грузил трала. Видят, понятно, что не сачкую,
сам всегда помогаю и вкальваю с полной отдачей.
«Илье надо благодарность вынести (это они после
приборки). И вообще, чего ты на гидру учишься?
Поступай к нам, а то на траулер кормовой, денег
зашибешь тысяч пятнадцать, и заработок хороший
и работа».

14/X – 58 г.

Дождь относит ветром. В окне рулевой рубки
под прожектором, не переставая, нити дождя. Но
это не косой дождь: брызги летят параллельно
воде, палубе, небу, летят влево. А между ними сне-
жинки. Я уже слышал об этом ветре. Его называют
снежный заряд. Но пока еще снега нет.

Звонит телефон. У корабельного телефона
странный «собачий» голос. Точно завывает собака.

15/X – 58 г.

Ночь. Качка. Спуск трала. На плече тяжелый
груз мессенджера, ржавый гак свисает на грудь.
Тащу на нос по колено в рыбе. Ноги скользят,

в лицо брызги и чешуя, рыба слизь. Дотягиваюсь на четвереньках до решетки, цепляю гак.

А вокруг всё движется, скрежещет, и надо быть начеку, чтоб не обрушилось на тебя это железо, не стянуло сетями в море, да еще качка, и, главное, знать, какая последует вот сейчас, сейчас операция спуска, знать, что делать.

В первую ночь ни черта понять не мог, тянул и тащил, что говорили, пока не разобрался, да и они, как писал уже, вовремя оберегали. Потом освоился.

До подъема трала шкерим рыбу прошлого улова. У рыбодола – доска, где ее казнят, прокальваю пикой тресковые морды, цепляю камбалу за белое брюхо, кидаю на рыбодел, следующий отрубает голову, третий взрезает брюхо, вытягивая кровавые кишки и коричневую мокрую печень. Кишки в сторону, печень в открытый трюм.

И опять: согнуться, пикой в оскаленные морды, вскинуть на пику, швырнуть на рыбодел. И опять стук, хряк – рубит голову.

Наконец, тащим шланг, и – бешеный напор: смывает вода с палубы и досок кровавое наше дело.

И опять, опять: «Трал на борт», «Трави», «Выбирай», железный грохот многопудовых траловых досок, они ползут вверх, бухаясь наконец на фальш-борт. Как ошалелые вертятся турачки лебедки подъема, и ползут, ползут тросы, лязгают цепи со всех сторон...

19/X – 58 г.

После чая в столовой команды долго сидят старожилы, вспоминают прошлое.

– У нас в деревне, я еще пацаном был, решили мы курам свет провести. Насовали пучки соломы в потолок и подожгли. Иллюминация! Сеновал, сарай, полдома сгорело. Отец тогда лупцевал нас, лупцевал (он счастливо улыбается).

– А у нас, – это «дед» говорит, старший механик Коля, ему 30, но всех старших механиков называют «дедом», – мы с ребятами костер в погребке развели, даже крыша занялась. Отец всё пытал, пытал: «Кто сделал?!»

Сидят размягченные, тихо говорят, курят, грустно улыбаются.

– Нет, – говорит Иван-моторист, – скоплю деньги, побуду до весны и мотну к себе, на юг.

Радист Гена (он фокусы в кубрике показывал и даже умеет кирпич на голове разбивать) ему не верит:

– Я за девять лет только раз до Москвы доехал и – назад. Деньги кончались. Так и не побывал на родине.

– А я, я выиграю «Волгу» по лотерее (это Герасимчук). Спишусь тогда к бису с корабля, на шофера учиться пойду и к себе на Украину уеду.

– Да подожди ты, не уезжай. Колымщиком хочешь стать? Поганым колымщиком? Не доедешь, бичом станешь.

(Как говорил мне на вахте старпом: по-английски «бич» – отлогий пляж, иносказательно, а по-простому «чесать берег». Эти милые сэры, они все пьянствуют на берегу за счет моряков).

20/X – 58 г.

Наш старпом Николай Владимирович одессит, такой у него яркий одесский выговор, ни с чем не спутаешь, а сам строгий, высокий, худой, двадцать лет он в море, изъездил весь мир штурманом и капитаном на торговых кораблях, он и на тральщике старается навести настоящий морской порядок, но строгостью тут не возьмешь, нельзя, даже взбунтоваться могут, и действует шуточками едкими своими, подковырками.

А капитан Василий Денисович мягкий и добрый, он всегда подтянут, выбрит чисто, аккуратный китель. Но глаза у него, если всмотреться, печальные, и пальцы иногда подрагивают. Ему уже 47. И судьба у него непростая. Был и радистом на зимовке в Главсевморпути (это всё мне старпом рассказывал на вахте) с 37 по 39-й и с 40 по 42-й. Потом армия, фронт. А с 45-го в тралфлоте, учился и справедливо дослужился до капитана, но по какой-то кляузе сняли с должности, он даже грузчиком работал, пока не разобрались и не вернули на корабль.

Он единственный, кого наш старпом на судне действительно уважает: справедливый, интеллигентный, хотя из совсем простой семьи.

21/X – 58 г.

Почему-то сплошь все малые портовые буксиры, снующие вперед, назад, такие крохотные и грязноватые, называются как миноносцы: «Смелый», «Стремительный», «Стерегающий» и т. д. А есть еще «Мираж», его сразу издали узнаешь: у одного из матросов ярко-красная турецкая феска.

Когда однажды в порту Николай Владимирович – он служил тогда старпомом на одном из тральщиков – был, как и все, на берегу, а на пустом корабле капитан оставил третьего штурмана, а тот, с приятелем от тоски раскрутил запасной компас, и прикончили они компасный спирт. Но всё свалили на старпома, якобы он был там. За что и списали Николая Владимировича на этот «Мираж». Еле-еле по суду установили, что не он с третьим штурманом выпивали. И лишь потом, спустя время, направили к нам. Но у нас на судне многие его не любят за строгость и называют между собой «капитан-мираж».

А у меня с ним отношения самые хорошие. Он на вахте ночью явно отводит душу, рассказывает мне, где он бывал, разные морские истории, разные случаи, да и про аварии в «этой вот луже», особенно об одной, трагической, когда погибли почти все в снежный заряд, что особенно меня затронуло, так это всё было и совсем недавно.

24/X – 58 г.

Записываю, пишу всё, и хочу ничего не скрывать, а, честно говоря, всё равно неловко мне и про это писать.

Лёня, инженер ПИПРО: два дня назад, – говорит он мне, – был я ночью на мостике, там капитан и старпом наблюдали за работой команды, говорили о тебе: хороший матрос, – это капитан старпому, – работающий, быстрый, спокойный и – неразговорчивый.

25/X – 58 г.

И опять Мотовский залив. День. Солнце. Тихо. Тепло. К борту идет разноглубинный наш трал. Плывут крутой дугой поплавки-кухтыли. Они близко уже. Вода над тралом начинает отсвечивать бирюзой. Очень яркой. И вот, вот появляются белые-белые капроновые нити.

А вдали из глубин выступает квадратная черная башня атомной подводной лодки.

(Хорошо помню, как 23 сентября 58 года еду на поезде в Мурманск. У меня направление от ВНИРО – Всесоюзного научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. В Мурманске должны взять на корабль в тралфлот гидрологом.

Несколько дней в библиотеке изучал, конспектировал «Практическую океанографию» В. Снежинского, зарисовывал в блокнот приборы.

А когда ехал вдоль залива, потом от Кандалакши мимо озер, всё смотрел и смотрел в окно, вспоминая 56 год. Другой, конечно, но тоже Север. Может, и смешно звучит, а всё как родное. Здесь осенью поразительно.

Сплошной бордово-красный ковер на земле, желтые листья осин и карельских берез, между ними темные ели. А на ярком ковре, как чугунные, глыбы валунов.

Кандалакшский залив, серое Белое море, из воды такие же торчат валуны. Дичайшая красота, настоящая.

Вот и Мурманск. 4 октября 33 исполнилось. И корабль пришел РТ-211, куда зачислили в экипаж гидрологом.

Молодые ребята и две девочки чертят итоговые графики рейса, графики температур, солёности и др. и учат меня (я представился им: студент, мол, заочник второго курса, работаю в типографии), они очень одобряют, что сам решил пройти практику, поплавать, «потом и за третий курс можешь сдать».

Девочки, конечно, начали гадать, сколько мне лет. Рискнул и скинул себе десять лет. И утвердили, наконец: да, как и им двадцать три. «Он на Федьку похож: выглядит постарше, а глаза молодые».

Даже не выдержал: признался, сегодня у меня день рождения. И все обрадовались: устроим складчину, «вы студент и мы студенты». Устроили торжественно).

8/XI – 58 г.

Вахта на гидрологическом мостике.

Рейсы к Западному Шпицбергену до кромки льда. И к Новой Земле.

«Берем станцию». Судно стоит, качаясь на волне. Ждет, когда кончим работу.

Спущенный из гидралебедки трос раскачивается в воде. Ветер. Дождь со снегом. Всё черно.

Низкие леера. Цепляем, цепляем, перегнувшись, батометры на трос. В лицо брызги соленые, ветер.

У меня помощник Коля – новичок-«салажонок», худой, рукастый, демобилизован недавно из армии. Всё просил поменяться ремнем с ним: у меня медная бляха с якорем еще с войны. Наши ребята прозвали его в насмешку Жора. И шуточки вечные: принеси ключ от шпигата (дырка для стока воды с палубы), надрай лапу якоря и пр. Он не обижается уже, даже откликается на Жору.

9/XI – 58 г.

Темнеет теперь к 13 часам. А до того такое праздничное зеленоватое море. Разве что около Печерской губы, где глубина 23 метра, цвет воды совсем другой – коричневатый, и волны мелкие. Будто идем по реке.

12/XI – 58 г.

Дневная станция не удалась. У борта «ходит и ходит» касатка. То подныривает под тральщик, и гро-

мадная, узкая, как торпеда, ее тень видна сквозь воду. Выныривает вдруг у борта ее морда – «рот до ушей», потом скользит горбатая спина, а на прощанье появляется для нас хвост.

14/XI – 58 г.

А в каюте тепло. Слышно, как работает вентилятор, непрерывно. Когда замолкает, просыпаешься ночью от тишины.

Я теперь не один в каюте, в другой – на двоих. Со мной Гера-ихтиолог. Разговоры о жизни. «Современная жизнь (это из Блока в 1909 году) есть кощунство перед искусством. Современное искусство есть кощунство перед жизнью». Это у Геры томик Александра Блока. Гера знает много стихов наизусть.

Потом вдруг:

– Ты гуманист, Илья?

– Гуманист... Ну... как все нормальные люди.

– Не-ет, не как все. Тебе в жизни, думаю, немало обид пришлось перенести. И очень тебя, наверно, больно задевало. Ты переживал, конечно.

– Ну всё это не совсем так. Нет.

– А всё равно считаешь, что почти все люди хорошие? Да? Добрая душа...

Нас прерывает, мы слышим тоскливый гудок. Это значит, идет опять снежный заряд. И снова наши разговоры, и снова гудок, как рефрен.

17/XI – 58 г.

Наше судно «рыскает», плохо слушается руля, не идет прямо. Это особенно если ветер в корму. Надвигается шторм. Ветер норд-вест. Сплошная стена серой воды рушится на полубак, судно ныряет. В лицо хлещет ледяная крупа. Как «братъ станцию»? Палуба обледенела. Ледяные белые леера, свисают белые, обледенелые цепи. Ячей траловой сети, как ледяные пальцы. Штормуем, «подрабатываем на волну», «торчим носом на волну».

18/XI – 58 г.

Хочу объяснить Коле (не буду звать его «Жорой», хотя ребята вовсе не зло, добродушно в общем), что такое и для чего наши «станции». Мы ведь разведчики. Выясняем, где лучше ловится рыба, в каком районе. Температура воды, соленость, прочее дает понять, где рыбе хорошо. Точки «станций» соединим в конце работы линией на плане: вот он круг, здесь удачный район. В сентябре, октябре, – говорит Гера, – рыба плохо обычно ловится. А сейчас ноябрь, скоро зима. Записываю всё здесь, на «станции», вот в эту, – объясняю Коле, – гидрологическую книжку, еще угол троса, осадки, давление, температура воздуха. Потом в бланк: местоположение «станции» и т. д.

20/XI – 58 г.

Наконец-то подходим к Шпицбергену. Но на берег «добро» не дают, хотя виза есть. А так хотелось

всем отдохнуть. Работа моя матросом была куда живее, гидрологическая однообразней и почти беспрерывней, не то что «трал на борт», спуск, уборка, рыбодел. Потому и записываю меньше.

28/XI – 58 г.

Уходим. Новая «станция». Днем. Палуба оттаивает. И опять «станция».

Но вот оно – «однообразие»: трос с батометрами занесло под корму. Надо сразу, сразу проверять: зацепились ли они за винт, это очень похоже. Сейчас, когда штурман даст ход и...

Коля обвязывает меня длинным куском запасного троса, закрепляет конец в гидролабораторной будке. Лезу через борт, одной рукой держусь, другой, нагнувшись, шарю в воде, дергаю, дергаю. Вот, вот, наконец, – где застряло. Нагибаюсь все ниже, ниже. Сейчас свалюсь...Качка. Брызги. Ну!.. Отцепляю, фу-ух, господи...

Уже декабрь. 1958 год.

Рыбы в тралах всё меньше. Вместо рыбы вытянули акулу.

Она лежала на палубе на боку, огромная, шершавая, серая туша, длиной метра три. Ее кожа, как наждак, жесткая, крепкая, вся в пупырышках. Акула издыхала, тело ее становилось рыхлым. Вчетвером мы так и не смогли ее перевернуть.

Когда она затихла, надо разделявать и избавляться от нее. Даже странно, такое чудовище можно запросто рубить, как простую рыбу. В ее желудке почти непереваренный тюлень-детеныш, камбала и вся наша другая, знакомая рыба.

Ну вот, только-только разрешено войти в зону после испытаний на Новой Земле. Мы входим в зону первыми. Капитан приказал кормить пока команду из консервов, выловленную рыбу ни в коем случае не есть.

Первым ослушался «втихую» третий штурман Слава, кудрявый, почти мальчишка. Он выдает себя за лихого одессита. Это мода появилась. Старпом так заметно по-одесски говорит, но он-то и вправду одессит, все знают. Поначалу неприязненно к этой «одессе» относились, старпома ведь не любят за строгость. А теперь вот даже моторист из Краснодара тоже «одессит». Слава заучивает одесские песенки (откуда только взял их?), чтобы надрывно с «одесским» завыванием распевать под гитару.

Наш кок-повар в кепочке приготовил – чтобы не одни консервы – еду из креветок, божился, что их еще до зоны выловили. Привирает, конечно.

А мы все с удовольствием едим этих креветок, красноватых, скрюченных сейчас рачков, мясо точно у крабов, только сладковатое чуть-чуть.

Гера назвал по латыни *Pandalus borealis* (если точно передаю) и еще другой вид. Рачки длинноно-

гие, с тонкими длинными усами, тепловодные, но заходят и до Земли Франца-Иосифа и Шпицбергена.

Поскольку работы с тралами сейчас куда меньше, «станции» все время, да и рыбы опять-таки мало, смотрим часто кино в кают-компании. У нас с собой три фильма: «Ив Монтан и Симона Синьоре в Москве», «Солдаты» (по Виктору Некрасову «В окопах Сталинграда»), третий всё забываю название.

Вот так сидим мы, «как баре», поедаем из мисок креветок и смотрим на Симону Синьоре, такой удивительный у нее женский шарм, слушаем песни Монтана и идем, идем и едем с солдатами.

И всё это обрывается гудками: сплошной снежный заряд. Выбегаем, закрываем лица: с огромной скоростью параллельно палубе летят не нити уже, а снег. И – шторм. Сила ветра, выходит, 10 баллов, а волны... Море покрыто пеной... Траловые доски обледенели, на бобинцах и кухтылях наплывы льда, свисают, раскачиваются, обламываются сосульки под полубаком, сосульки на всех тросах.

И вокруг всё уже стало белым: весь корабль обледенел.

Волны всё выше, всё сильнее и – наконец удар! Прямо в скулу траулера. С такой силой, что вот сейчас, сейчас мы, корабль перевернется, и все мы в воде, в ледяной воде, и на мгновение слова старпома: почти все погибли тогда в снежный заряд.

25/XII – 58 г.

Очень трудно ходить по неподвижной земле, болят ноги, особенно голени. В порту белый дым, в двух шагах ничего не видно.

Я попрощался со всеми ребятами на судне, мне было с ними хорошо, попрощался с капитаном Василием Денисовичем и со старпомом Николаем Владимировичем.

(Ко мне домой потом приходил даже боцман, он, оказывается, тоже москвич, приходил наш старший гидрологической группы; в общем, те, кто из Москвы. Через какое-то время я вдруг получаю извещение, что на почте мне лежит денежная премия из Мурманска, от тралфлота. Первая в моей жизни такая вот премия.)

А я всё шел, расставив широко ноги, по городу, по Мурманску, как говорят здесь, а не в Москве. Я могу теперь отправить Леле письмо и мальчику моему, а не только радиogramмы, и получить пачку ее писем.

Над домами розоватый туман, непонятно почему, а пониже ленивый, грязный дым. Мороз. Хотя я одет тепло.

Я, наконец, получил адрес того тралмейстера, который выжил, когда все люди погибли, того, о ком рассказывал мне на вахте старпом. Его зовут Зайцев Павел Михайлович. Он не ходит теперь в море, работает в порту.

Мы сидим у него дома, он говорит, ему больно, но он сдерживается. Он помнит даже до деталей, что бывает так редко, но это ведь совсем недавно, а для него на всю жизнь.

Я вышел, иду по городу, но будто не по городу совсем, а только сопки и люди эти погибают.

Я шел вверх и понял, что я в центре, это перекресток, так называемый «Пяти углов». Завернешь под тупым углом – улица, она тянется прямо, все дальше, дальше и просто уходит в сопку, на ее склонах деревянные хибары. Это окраина.

Я стою. Потом иду вверх. Ветер норд-ост, но я тепло одет. Иду с трудом по обледенелому снегу, его корка трескается, как стекло, я проваливаюсь в снег по колено. Сопки, одни сопки впереди и белые, ледяные, как из латуни, телеграфные столбы... Люди, они же шли раздетые почти, выплывшие из ледяной воды, господа.

Ветер чуть не сбивает меня с ног. Я не могу идти дальше, я делаю еще шаг, еще. Не могу...

(Я написал потом повесть об этом. Писал абзац и останавливался. Было такое чувство, что я иду с ними, у меня болело сердце. Я писал долго. О них, обо всех. Я не знал их, конечно. У меня там люди, которых знал я. Но они лишь прототипы, измененные понятно. Единственный – Зайцев (у меня Гусев), какой он был, и я словно прошел, дошел, вместе с ним, не погиб. Повесть называлась «Снежный заряд».

Она о том, как помогали друг другу в этом пути. И о подлости, да, подлости того капитана Телова (у меня Теплов), чей корабль прошел мимо погибающих на сопках. Этот человек хорошо видел севшее на камни судно и черточки бредущих по снегу друг за другом людей. Он ничего не сделал, а он мог, и даже не дал в порт радиogramмы о них.

Ни один журнал не брал эту повесть, хотели явно только «о положительном». Валентин Катаев в «Юности» попросил, чтобы пригласили меня в редакцию.

– Вы тоже шли с ними? Очень ощущается.

– Нет. Но я это хорошо знаю.

– Зачем же вы о подлеце. Написали бы, что они шли, несли ну, что ли, какой-нибудь денежный ящик, что ли.

– Какой ящик? Люди погибли.

– Ну это (у него ведь тоже одесский акцент!..), это же ли-те-ра-тура.

Повесть вышла потом в краткую «оттепель» в 1962 году, вошла в состав первой моей напечатанной книги. И название ее – «Снежный заряд».

Были рецензии во многих журналах и газетах, кто-то подсчитал, что, вместе с опубликованными до этого рассказами «Топь» и «Сержант», таких рецензий было 22. Столько, сколько лет потом, после второй книги «На этой земле», ничего не хотели больше у меня печатать. В нашем главном московском

издательстве зав. отделом так и сказала, усмехаясь: Пишите оптимистические поэзы, тогда и будем публиковать.)

Платформа

8/V – 60 г.

С 5 мая я старший лаборант Дальне-Восточной экспедиции Всесоюзного института лекарственных растений (ВИЛАРа). Направление работы: г. Новосибирск, г. Уссурийск, Тумынган, Шуран и другие районы Приморского края; острова Сахалин, Кунашир, Итуруп, г. Хабаровск. Срок командировки 4,5 месяца, по 25 октября 1960 г.

(Приказ № 1 по Д. Восточной экспедиции ВИЛАРа. Начальник экспедиции А. Шретер).

Первое задание: получить в Новосибирске экспедиционную автомашину с закрытым оборудованным кузовом (будкой) и на платформе товарного поезда доставить в Уссурийск.

В третий раз я уезжаю так надолго из дома. В Москве Леля с маленьким, нет уже не маленьким, девятилетним Игорем провожали меня на поезд. И так было грустно, очень, когда стояли мы, обнявшись, кучкой на перроне...

(...) 17/V – 60 г.

...В полу платформы была дырка. Настил проломился. В дырке мчалась стальная рельса и серые полосы земли. Платформа моя – старушка: 1939 года

рождения, завода «Красный Профинтерн». Какая к черту малая скорость: с бешеной скоростью мчал на Дальний Восток электровоз.

(13 – 15/V 60 г.)

Целый день оборудовали будку, и целый день потом на станции доставал платформу. Там помогали мне весовщики Петро и Вера Кись, и грузчик Саша Беленков, бывший Зк, бывший шофер. Об этом обо всём написал когда-то в рассказе «Платформа». Рассказ не очерк, но так оно всё и было в основном.

18/V – 60 г.

Остановился поезд. Утро. И тишина, только птицы поют.

От Хопкино к станции Тайга осинник, редкие березы, и всё больше и больше ели.

Ели... Всё больше ели... тайга... Как в Якутии в 56 году...

Вот и сейчас буду кипятить в ведре чай. Ставлю в пустое ведро спиртовку, раскрываю и зажигаю там белые кругляшки – сухой спирт. А сверху моя кружка с водой. Сажу над кружкой на чурбачке. Ведро глубокое, защитит, сколько бы ни дергал поезд. Ем куриное мясо на костях из консервов «Великая стена».

А поезд... Мелькают полустанки, ели, березы, болота, кочки. Не уследить, сколько бы ни ставил дат. Что за чем, по порядку. Всё перестраивается в моем Времени: сегодня было или вчера.

Время. Что такое время...

Желтые цистерны мимо с черными черепами, черными надписями «Яд». ЗИЛы на платформах, вставшие на дыбы, передками друг на друга, как люди в затылок, положили передним руки на плечи.

Красноярск. Всё мимо.

А вечером пахнет травами, речной сыростью, дымом костров, деревней. Лиственницы появились вдоль полотна. Вдали пожар.

Мальчишка едет со мной от Красноярска до Клюквенной (четыре часа). «Вы не боитесь? Кругом лагеря». Рассказывает, как ходят в районе какие-то люди, отрезают головы и еще похищают они детей, надрезают горло и оставляют висеть на крюке, чтобы кровь стекала...

– Господи, и ты можешь верить в такую чушь придуманную?

Мальчишке лет 18. Голубые глаза, толстый нос, толстые губы, на голове военная фуражка, серый пиджачок и брюки заправлены в сапоги.

(11 октября 1941 года я получил паспорт: 4 октября мне исполнилось 16 лет. На Большой Садовой Ростова-на-Дону музыка, очень громкая – это марш.

С развернутым знаменем под духовой оркестр плотным флотским строем, занимая всю мостовую, уходит на близкий фронт эвакуированное прежде к нам Севастопольское морское училище. Позади

стройка кучка без винтовок, маленькие, в рабочих серых робах – быть может, те, кто еще не принял присягу.

Потом известно стало: полегли все под Таганрогом.

Из Новочеркаска приезжает мама в военной форме – военврач третьего ранга (прежде гинеколог, мобилизованная в госпиталь). Госпиталь только организован, эвакуируется на баржах по Дону к железной дороге, к теплушкам, на восток. Мы собираем наспех кое-какие пожитки в мешки.

А баржа полна народу и полна вещей. Здесь я встретил и своего друга Витьку Зелюкова. Мама его медсестра другого госпиталя, с нею младшая сестра Витьки.

Я приходил к ним домой после войны. Витька не вернулся.

Мы ехали медленно-медленно в теплушках, останавливаясь повсюду, даже в пустой степи. На станции Кинель медсестра родила девочку, ее так и назвали Кинель.

А потом, дальше – зимнее наступление, и нас повернули срочно на запад в Воронеж.

И снова – отступление, и снова назад. Узловая станция Графская, которую запомнил на всю свою жизнь. Так же много там было путей, как на станции Тайга, только всё забито сгоревшими теплушками, брошенными эшелонами. И над ними дым. И слов-

но из дыма с неба, бесконечно, как по часам, вылетали бомбардировщики. Бомбы. Сперва маленькие, потом приближались, всё ближе, ближе, больше, вырастали. Взрыв! Огонь! И снова взрыв. И негде прятаться. Люди метались вдоль вагонов, взмахивая руками, сгибались пополам, закрывая ладонями головы, падали, впивались в землю, бежали с насыпи вниз. И снова гул. Бомбардировщики. И снова бомбы. И огонь.

Короткий «перерыв», наконец, и я вижу, как по дороге слева, вдоль обгоревших деревьев идут легкораненые из медсанбатов. К Сталинграду...

Я иду, как все, вперед, чинить пути, огибая воронки, спотыкаюсь о лежащего человека. У него оторвана голова до самых плеч и там переплетение какое-то того, что внутри. Это было впервые в жизни, в первый раз.

– Если бы написать обо всем, – говорит мой тогдашний приятель. У него была другая судьба, он был моложе, он не был потом, как наше последнее поколение войны, на фронте.

Может быть, именно тогда я подумал, чего бы хотелось мне в будущем.)

Я лежу в темноте на спине, на спальном мешке. Курю. Вспыхивает огонек сигареты. Под головой у меня ватник. Поезд идет тихо, только толчки иногда, то вперед, то назад. Стены дрожат.

Ступни мои упираются в скользкую жесьть: в молочный бидон с водой. Слева, у двери, бензиновая бочка поблескивает в темноте. Такой у меня дом. Два узких ларя по бортам под фанерной будкой, обитой брезентом. В ларях консервы. Позади меня дверь. Над головой окно, над крышей кабины грузовика. Тихо плещет в бидоне вода...

Каждые сто или сто пятьдесят, а то и двести пятьдесят километров меняются паровозы, меняется главный кондуктор, паровозная бригада, железнодорожный стрелок и даже номер состава... Только я – «бессменный». Я еду, так вот чувствую, давным-давно.

Я знаю, конечно, где проезжаем сейчас. У меня карманный атлас – схемы железных дорог. Но я не ставлю дат, как сам себе уже говорил: что такое Время...

Я сбрасываю крючок у двери, толкаю дверь. В лицо мне ветер. Я сижу на полу платформы, сзади машины на чурбачке, запахнув ватник.

Ветер не сильный. У самых моих ног – но это абсолютная правда – сидит светло-зеленая бабочка. Такое вот чудо. Ветер клонит бабочку в сторону, она всё сидит. Потом не выдерживает, улетела.

Поезд останавливается опять. Которая это станция? Идут ребята с портфелями.

– Гляди, какая будка хорошая, – показывает приятелю паренек.

– А чего хорошего, – отворачивается тот и сплевывает. – Доходяга какой-то живет.

А мой поезд сейчас тронется.

Сперва я слышу, как приближается, приближается к нам лязг – это дергается один за другим вагон, всё ближе, ближе. И ты напрягаешься: там, впереди рвет с места паровоз. И – толчок! Да такой, что гремит и лязгает весь мой дом: консервы в ларе, ведра, привязанные у двери, колесная цепь за бочкой, в бидоне бьется вода. Еще хорошо, что бидон и бочка закреплены намертво.

Поезд трогается.

На пассажирских всё же не так резко, а здесь людей нет, какие люди? – Кондуктор? Стрелки кое-где на площадках?.. Выдержат. И я выдержу всё!

В открытую дверь, откуда падает косой свет, одна за другой пошли тени неподвижных вагонов с соседнего пути, тени цистерн.

Мой поезд постепенно набирает скорость. Но идет спокойно.

Я смотрю в открытую дверь.

Какие здесь, в Забайкалье под Читой удивительной красоты места. Вьется справа река Хилок, по ее берегам красно-сизый ивняк, а слева обрывы скал. И всюду тайга, тайга.

Стучат колеса. Я даже напеваю что-то в такт под стукколес, потом всё громче, громче, и даже приплясывать начинаю под стук колес. Потому что мне хорошо.

Мне не скучно с самим собой, с тайгой и сопками, уходящими назад, и теми, что бегут навстречу, с облаками, весенним ветром, небом.

Я выхожу из дома на платформу.

Вокруг увалы Яблонового хребта, невысокие, они покрыты розовыми цветами, и все овраги затопил всё тот же розовый свет. А дальше редкие лиственницы в пять этажей с зелеными брызгами на ветках – точечками побегов, и рядом пятиэтажные ели.

Девчата, бабы, строящие дорогу, в косынках, повязанных до глаз, кричат мне вслед и смеются, они желают мне «счастливого доехать», «хорошего пути». Я машу – «спасибо!».

Кто говорил: «живет он так, как надо, только пишет не так, как надо».

Может, потому пишется «как не надо», потому что живу «как надо».

Мой путь хороший. Я в него верю.

Конечно, вечерами, когда темно, становится иногда грустно. Всё думаю о Леле, о мальчике моем, как они там... Я вижу их во сне, как наяву.

Что такое сон?.. Ведь он бывает, не всегда, но бывает, до того реальный, как жизнь. Хотя и с большими странностями, конечно. Но ведь и жизнь наша бывает очень странной.

Просто наш сон – это другой, второй мир. Да и фантазии наши стоят, по-моему, больше сверхрассудочных, рациональных построений.

Я сплю сейчас или не сплю, но хорошо вижу Олега. Наша память состоит, вообще, во всяком случае у меня, словно из каких-то отдельных сцен, часто без начала и конца...

(1944 год. Я бегу по трапу наверх. Боевая тревога. Я еще на середине трапа, и слышу позади: «Илюшка!..» Оборачиваюсь: крикнул Олег, он бежал сзади меня, но только еще добежал до трапа. И я вижу, как споткнулся и падает он в раскрытый рядом по боевой тревоге отсек со снарядами...

Больше я ничего не помню. Это было на канонерке...)

Курильские острова

(...) **Остров Кунашир**

24/VIII – 60 г.

(...) Мы идем уже по глухому лесу. Я иду первым, огибая завалы, подлезая под треснувшие наклонные стволы, раздвигаю руками травы выше человеческого роста, тридцать килограммов заплечный мешок, отбиваюсь от летящих, как пули, мух-белоножек, они жужжат в лицо, забиваются в уши, «песьи мухи», ядовитые. Я трогаю, опять трогаю – онемела правая щека, уши горят, они, как лопухи, и лоб – огромная нашлапка.

А травы пахнут медом, такой душный медовый запах высокой «медвежьей дудки», дудника. Оборачиваюсь.

Раздутая треугольником рожа в светло-коричневом берете-капоре вылезает из дудника, и к роже как приклеена борода. Глаза заплыли намертво, кровоточат на переносице дырки от укусов. Бедный Алексей Иванович.

– Глядите, – хрипит над ухом Алексей Иванович, – вон тропа.

Да только не человечья, свежие следы, громадные на глине.

Уже темнеет, свернули в сторону, поставили палатку над самым обрывом, в бамбуке. Этот бамбук не толстый, почти камыш, хотя два метра высотой, зеленый, желтый, рубить нетрудно, он сам обламывается, как стеклянные трубки.

Под обрывом проходило сухое русло, а на той стороне в темноте тоже шумел бамбук, бесконечно, бесконечно шумел бамбук, словно ночевали в хлебах, в пшеничном поле. Потом понемногу притих ветер, слышно, как внизу, в пустом русле, лакает из лужи в камнях медведь. Но этот всегда был близко, лёжки его, обгрызенные листья «медвежьих дудок», помет.

Наконец уснул Алексей Иванович. Он совсем другой здесь, совсем не такой, как на ГТС². Мы идем

² ГТС – Горно-таёжная станция

третий день, и я слышу только: «Быстреей, быстреей, быстреей, быстреей!» Он просто одержим, рвется вперед, вперед.

Но как «быстреей»?! У меня компас и нож, делаю на коре засечки на обратный путь, ищу, где лучше. Не слышит, не хочет слышать. «Зачем вы складываете так всё аккуратно? Надо идти быстреей!» Это мы оставляем на каждом привале часть содержимого из рюкзаков: в яме под упавшим деревом, вырванном с корнем, в какой-то неглубокой пещере, везде, где только можно. Нести всё: палатку, консервы, гербарные сетки со сборами, даже сухое белье, даже мыло – уже не вмоготу. Всё оставляем, всё оставляем постепенно, закапывая в ямах этих, делая над ними зарубки.

Мы идем к вулкану три дня. А кажется иногда, это куда дольше, чем долгие километры в Сихотэ-Алине...

Утром я вылез из палатки, спустился в сухое русло. Лужи не было, всё вылакал медведь. Вода у нас кончалась.

Камни в пустом русле белые, плоские, между ними дырки. Я присел на корточки, потом лег на живот, засунул бамбучину в дырку, начал отсасывать из-под камней воду во фляжку. Вода была с привкусом, похожа на растопленный снег.

И наконец, мы идем вверх. Оставили палатку, полупустые уже рюкзаки.

Но идти прямо, подлезая под кедровник, очень низкий, невозможно, а можно переступая с одного упругого, кривого ствола на другой, цепляясь за мягкие кедровые лапы, и получается это не всегда вверх, а вдоль, вкось, справа налево, и всё дальше, дальше справа налево.

До вершины оставалось, мы прикинули, не больше километра, вышли на голую скалу, на плато. Высота две тысячи метров.

Внизу, под ногами заросшие сплошь кустами стланика темно-кудрявые сопки, и весь этот долгий, такой долгий остров...

А дальше светлые волны, облака, и что-то темнеет в волнах. «Всего 15 миль, – сказал Алексей Иванович. – Это виднеется Хоккайдо».

Мы сидели на плато, передыхая перед новым рывком. Сверху пошел туман. Он шел, растекаясь, он растекался в стороны. Сейчас он закроет всё, и мы – в тумане.

Идти вслепую... Несчастное лицо Алексея Ивановича, когда сползали вниз, а в спину туман, и сползли назад, к палатке, свернули ее, подняли свои мешки. Начался дождь.

И он сыпал, больше не переставая, когда пробирались между стволами по засечкам моим назад, подбирая оставленное в засыпанных ямах, и когда ехали опять на телеге вдоль океана к брошенной заставе № 17 и дальше, дальше, дальше. Назад.

Мы сидели оба, сгорбившись, спина к спине, свесив ноги в резиновых сапогах, накрывшись одним брезентом от дождя, мой Алексей Иванович и я.

(Только сейчас, много лет спустя, читая научные планы покойного Алексея Ивановича, я понял, почему он так спешил, что он думал найти наверху, а я ругал его за «ненужную» быстроту. Но мы оба не дошли до вершины, он до своей, а я, может быть, до своей. Были подступы, подступы...)

Семь островов

22/VII – 63 г.

Остались позади Курилы, Туркмения. А Север все равно меня не отпускал. Мне уже 38. Я поехал той же дорогой: вдоль залива в поезде до Кандалакши, мимо озер. И вот уже знакомые темные ели, осины, березы карельские. Море «серое» – Белое море, валуны торчат из воды...

Я поехал на Семь островов, опять на Баренцево, на птичьи базары, где летают маленькие чайки-моекки, такие стройные и красивые, серо-стального цвета, и громадные полярные чайки, их перья, как желтовато-грязный мех белого медведя.

Пароход наш прибыл к островам вечером 17-го. И вот уже шестые сутки я здесь. День и ночь совсем перепутались, стоят белые ночи, и все от «начальника над островами», рабочих, лесников-поморов, студентов-практикантов кольцуют птиц на острове

с мирным названием Кувшин. Мне выдали серый комбинезон, когда присоединился к ним.

Работаем белыми ночами, днем спим на полу базы: в избушке на острове Харлове, переплываем на катере с острова на остров.

Надо торопиться, пока еще нет дождя и туманов, пока птицы не улетели с «базаров».

Кувшин – круглый, очень высокий, издали похожий на сопку.

Но на нем скалы словно выходят из моря: такие огромные, разноцветные, прямо как детские кубики. На «поморском языке» Кувшин – это не наш кувшин, а скала, монолит.

Поднимаются всё выше, выше гранитные кубики, а всё равно неправдоподобные, как декорации. Они то красноватые, потом желтоватые, а то с зеленым лишайником. И на самом верху видна наивно ромашка.

А на гранитных уступах скал тысячи, тысячи кайр, сидят сплошными рядами. Белые груди, черные крылья, черные головы. Словно сидят там в белоснежных рубахах маленькие люди.

И над ними летают сплошные тучи птиц, и не прекращается никогда отчаянный птичий крик.

Мы все приходим сюда с покатога более-менее южного склона на вершину скалы, вбиваем в нее железный лом, на нем на петле штормовой трап. Он повисает свободно над морем.

По очереди мы уходим по трапу вниз с пожарным поясом, куда пристегнут карабином трос. По очереди нас страхует помор дядя Митя.

Я спускаюсь медленно, на груди звенят, качаются целые связки, гирлянды цветных колец.

Трап опускается метров на сорок, а дальше, ниже, в пятидесяти, а может, ста метрах ниже с ревом и плеском бьет о валуны приборой.

Я чувствую под ногами уступ, карниз. И тогда трап поднимают. Я стою. В руке у меня длинный шест, на конце его изогнутый проволочный крючок по размеру шеи птицы.

Этим шестом с крючком я снимаю птицу с ее карниза за горло, надеваю кольцо на лапу и отпускаю, она защищается от меня только криком. Встряхивается и взлетает на то же самое свое место. Дальше, дальше, следующую. Еще следующую, еще. Скорее, надо скорее, скорее.

Перелезаю на другой карниз, скользкий от птичьего дерьма, и запах всюду тоже от этого добра.

Я подтягиваюсь к карнизу, который выше, потом еще повыше, потом вбок. Наконец, закончено и здесь. Но спуститься ниже я не могу. Не достают ноги до нижнего карниза, а значит, невозможно стать. Или не стать...

Все, кто изображает биологов такими очкастыми хлюпиками, заблуждаются как всегда. Начальник

островов считает, что практику здесь должны проходить альпинисты и скалолазы.

Я не альпинист, не скалолаз. Никогда прежде в нынешних моих путешествиях не было так страшновато. Но коли ты попал ненароком сюда, что ж остается делать.

И, конечно, ребятам-студентам страшно, и они, как считает начальник, выбрасывают кольца в море, чтобы скорее поднимали наверх.

«Ваш архипелаг, – сказал студент Валера, – Семь островов пора закрыть, как на Печоре Печорлаг».

(...) *Семь островов*

30/VII – 63 г.

Я возвращаюсь в прошлое.

Я сижу у костра на острове Харлове.

Разогреваю кашу из концентратов и кипячу чай. Для всех. 31-го, т. е. завтра, должен прийти пароход.

Все ушли: надо всё-таки кольцевать тупиков, этих «северных попугаев», у которых широкие красные клювы, и живут «попугаи» в норах, а не на скалах.

Только я остался. Я прыгнул с валуна на валун два дня назад. На земле! Не на скалах. Левая нога моя в бутце подвернулась. По-видимому, это вывих. Ступня побаливает, но терпимо. Я лечу ее теплой водой, потом перевязываю бинтом. (В Мурманске в травмопункте оказалось: сломаны плюсневые кости. Домой поехал в гипсе и на костылях.)

Тихо кругом. Очень тихо. Я один. Я смотрю на почти что прозрачные языки огня, думаю, я давно это думаю. Похоже, я приблизился, приблизился, наконец, к основному закону, как я считаю, закону Сохранения Искренних Чувств.

Всё, что искреннее, не исчезает. Нет.

Всю нашу жизнь мы излучаем чувства во Время-Пространство, но то, что лживое – то слабое, оно рассеивается бесследно. И только искренние чувства сохраняются вовек.

Я потом отдал этот закон моему герою из повести «Жизнь Губана». И он говорит:

Весь мир над нами и под нами полон Сохраненных Искренних Чувств.

*Благодарю сердечно
сына Игоря за то, что подвиг
взглянуть по-новому на характер
моей многолетней работы, и за активное
участие в опубликовании этой главной
для меня книги, а также друга Мишу
(Михаила) Бронштейна за его помощь
в подготовке рукописи книги к печати.*

Биография

Илья Крупник – наш современник, родившийся в 1925 году; пишет и печатается уже более 60 лет. За свою долгую жизнь прошел через все события жесткого XX века: войну, Победу, послесталинскую оттепель, перестройку, защиту Белого дома и хаос первых десятилетий новой России. Всегда независимый, «отдельный» человек, он в середине жизни двадцать два года не мог напечатать ни строчки в официальных советских изданиях и тем обрел полную творческую свободу. Проза Крупника – это яркость языка классической русской литературы, сложный опыт трех поколений советской истории и удивительно образное воплощение сегодняшней жизни.

Автор восьми книг, включая: «Снежный заряд» (1962), «На этой земле» (1967), «Начало хороших времен» (1989), «Жить долго» (2006), «Время жалеть» (2010), «Струна» (2015). В Союзе писателей с 1962 года, в Союзе писателей Москвы со дня основания в 1992 году.

Содержание

От автора.....	5
Спасатель (2017).....	11
УГАР.....	20
Город Делфт (2009).....	22
Угар (1980).....	66
Хромой бес в Обыденских переулках (1985) ...	134
ЖИЗНЬ ГУБАНА (1977).....	223
«ОТОЙДИ ОТ ЗЛА...».....	399
Топь (1955).....	400
Начало хороших времен (1986).....	429
«Отойди от зла...» (1996).....	474
СТРАНА ОБЕТОВАННАЯ.....	509
Сеня-Семен (1990).....	510
Пальтяев (1955).....	544
Человек из-под стола (1993).....	573
Цвет песка (1968).....	606
ЧЕРЕЗ СТОЛЬКО ЛЕТ.....	659
Струна (2002).....	660
Снежный заряд (1959).....	692
Сабадель (2004).....	748
ПОПЫТКА САМОПОЗНАНИЯ.....	769
Легенда о художниках (1982).....	770
Бессмертие (2011).....	821
Незабытое (2015).....	824
Благодарность.....	861
Биография.....	862

Литературно-художественное издание

Крупник Илья Наумович

ОСТОРОЖНО – ЛЮДИ

Из произведений 1957–2017 годов

Редактор *Н.В. Комарова*

Рисунки и дизайн: *А.П. Зарубин*

Технический редактор *И.К. Лобан*

Корректоры *О.В. Круподер, В.А. Нэй*

Подписано в печать 25.12.2017 г.

Формат 84x108/32, Гарнитура Times

Печать офсетная. Печ.л. 27

ООО «Издательство «Этерна»

115477, Москва, Кантемировская ул., 59а

Тел. (495) 325-41-15

E-mail: info@eterna-izdat.ru

www.eterna-izdat.ru